

правильная объективация красоты ничего общего не имеет с совершенно недопустимым некритическим перенесением ее на воспринимаемый объект, где красоту помещают рядом с физическими и химическими качествами его.

Гармонична система развития — с точки зрения своего финального результата и именно в том случае, когда этот результат представляет для нашей субъективной человеческой оценки нечто желанное. Целостность организма для нас — положительная ценность, и это, конечно, биологически совсем не случайно, — поэтому мы называем осуществляющую ее систему гармонической, а отдельные, с необходимостью ведущие к этому финалу процессы мы ретроспективно называем согласованными, т.е. согласованными они нам представляются с точки зрения уже осуществленного желанного конца. Имея конец процесса и прослеживая причинный ряд в обратном порядке (т.е. от конца к началу), мы называем такой ряд телеологическим или целевым рядом. Таким образом, телеологический ряд оказывается просто перевернутым — причинным: желанный конец — цель, а все, что необходимо для его осуществления, — средства.

С точки зрения полученного результата развития все процессы, происходившие в системе, конечно, согласованы между собой, но этим ровно ничего не сказано. Если в конце развития мы получили целый организм, то само собою ясно, что все процессы вели именно к нему: иначе его и не было бы. Все это пустая тавтология. Другое дело, если бы эти процессы могли быть иными; но мы знаем, что это совершенно невозможно: они именно таковы, какими только и могут быть при данной совокупности условий. Разобраться в этой совокупности, разложить ее на элементы и во всех деталях понять обусловленную ею необходимость развития — вот истинная задача науки.

6. ПРИНЦИПАЛЬНАЯ  
ДОПУСТИМОСТЬ МЕХА-  
НИСТИЧЕСКОГО ОБЪ-  
ЯСНЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Теперь необходимо сказать несколько слов особо о "приведении к абсурду механистической точки зрения", хотя и эта сторона дришевской теории падает уже вместе с понятием гармонической эквипотенциальной системы.

Совершенно неправильным является отождествление механистической точки зрения с машинной, да еще в таком примитивном ее выражении. Механисты ничего не имеют против сравнения организма с машиной: эвристически оно может быть иногда полезным; но все же это не более как сравнение. Всякое же сравнение можно использовать хорошо, можно использовать и плохо.

Воображаемый механист, рассуждения которого Дриш приводит к абсурду, использовал аналогию организма с машиной чрезвычайно плохо. Совершенно недопустимо мыслить себе машину, заключенную в развивающейся системе в совершенно готовом виде, и еще более недопустимо представлять себе такую же готовую машину в каждом абстрактно изолированном элементе системы. Если уже применять это сравнение к процессам органической регуляции, то нужно представлять себе непрерывно строящуюся, становящуюся машину (нельзя также отделять процесс развития от его результатов). Далее, строится эта машина

не из готовых уже частей, а из строящихся же. Пусть это звучит громоздко, но приходится сказать так: развивающийся организм — это машина, строящаяся из строящихся частей. Когда мы ее разрушаем, на ее месте начинает строиться новая машина из оставшихся элементов и в новых условиях.

Допустим, что наш четырехклеточный зародыш — такая создающаяся машина. Когда мы отрываем один бластомер, мы разрушаем всю эту начатую, идущую в одном направлении, постройку. В отделенном бластомере она продолжается, но уже в ином направлении: бластомер перестал быть становящейся частью прежней машины, — в новых условиях развития он с необходимостью становится сам новой строящейся машиной.

Ничего абсурдного в такого рода механистическом мышлении нет. Абсурд начинается лишь там, где много готовых машин мыслятся одновременно существующими в органической системе, соответственно многим фиктивным потенциям. Но мы уже знаем, что каждый раз может иметь место только одна возможность, и для ее объяснения нам каждый раз совершенно достаточно допускать только один механизм, только одну машину. Дриш попросту навязывает воображаемому механисту свою собственную ошибку, заставляя его строить фиктивные конструкции вне времени и пространства. Таким образом он приводит к абсурду свою собственную точку зрения, плохо переведенную на язык механистов.

Остается подвести итоги критике первого доказательства автономии жизни. Мы видели, что вся конструкция гармонической эквипотенциальной системы отнюдь не опирается на приведенные эксперименты и вообще на какой бы то ни было опыт; она и не стремится быть объективным выражением фактов, поэтому мы не можем назвать ее даже рабочей гипотезой, это типичное метафизическое построение, которое вполне последовательно увенчивается вневременной и внепространственной энтелехией. Появление в конце рассуждения Дриша этой откровенно метафизической сущности было совершенно подготовлено и даже предопределено введением проспективных потенций. Как всякая метафизическая концепция, дришевская теория пользуется субъективным схемами внутреннего опыта. И, наконец, все построение проникнуто субъективными оценочными определениями, которые некритически переносятся на предметы внешнего опыта, как их объективные качества.

В заключение нужно сказать еще следующее. Противопоставлять Дришу следует не наивно-механистическую точку зрения, способную оперировать с готовыми и неподвижными машинами, не давая себе даже отчета, что машина всего только образная аналогия, а точку зрения современного диалектического материализма. Только на его почве возможно адекватное научное выражение таким сложным явлениям жизни, как органические регуляции.

П.Н.МЕДВЕДЕВ

## СОЦИОЛОГИЗМ БЕЗ СОЦИОЛОГИИ

(О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ П.Н.САКУЛИНА)

Методология, в конце концов, есть мирозерцание...

*П.Н.Сакулин.*

П.Н.Сакулиным задумана огромная, пятнадцать книг, "Наука о литературе", которая должна, с одной стороны, подвести итоги уже сделанному в области литературоведения, а с другой — раскрыть перспективы истории литературы как науки.

Свой монументальный труд П.Н.Сакулин начинает столь же общим, сколь и справедливым указанием: "История литературы — недостаточно организованная дисциплина. Ей многого не хватает, чтобы сделаться наукой в строгом значении слова. Но она может, она должна стать наукой".

Вряд ли подлежит спору, что стать наукой препятствует истории литературы, главным образом, недостаточная разработка ее методологических предпосылок.

Положительная ценность заостренных и буйных дискуссий вокруг этих вопросов в наше время в том именно и заключается, что в них осознаются предмет, методы и границы истории литературы, т.е. происходит научное самоопределение ее.

Пора по достоинству оценить дешевую и легкомысленную иронию *ut-verjendung*, будто — "wer nichts ordentliches kann, macht Methodologie", что т. Карсавин, не без тайного сочувствия, переводит так: "Кто не способен ни на что путное, тот занимается методологией" ("Восток, Запад и русская идея", стр. 3.).

Мы думаем иначе и, перефразируя слова Г.Риккерта, готовы сказать: методология стала для нас делом научной добросовестности, и мы не желаем выслушивать никого из тех, кто обходится без оправдания ею своих мыслей ("Границы естеств.-научного образования понятий", стр. 16).

Очевидно, этой задаче методологического самоопределения истории литературы и должны служить последние работы П.Н.Сакулина — "Социологический метод в литературоведении" и "Синтетическое построение истории литературы", входящие в систему его "Науки о литературе".

Мы понимаем всю трудность и сложность положения, в котором оказывается исследователь, решающий систематически и научно поставить и разрешить все эти вопросы.

Необходимая разработка предварительных материалов далеко еще не закончена. Традиции русской научной мысли в этой области чуть ли не исчерпываются А.Н.Веселовским, фрагментами его исторической поэтики, и Г.В.Плехановым как основоположником марксистского искусствознания.

Из современных методологических споров еще не успела родиться и отстояться истина. Все это как будто говорит за невозможность, за преждевременность "синтетических построений" в методологии истории литературы.

Дело осложняется еще и благодаря тому, что метод, любой метод в любой области знания нельзя мыслить только как совокупность конкретных приемов практической работы. Методология — не методика.

"Метод, — правильно говорит П.Н.Сакулин, — есть совокупность приемов научного исследования, которые базируются на определенных принципах, вытекающих из понимания природы изучаемого объекта и, стало быть, задач исследования" ("Социолог, метод в литературоведении", стр. 25).

В конечном счете это значит: методология есть мирозерцание (Ibid., стр. 25). Таким образом, методологу необходимо быть не только практиком своей специальности, мастером своего ремесла, но и человеком разносторонней теоретической мысли, систематиком идей и диалектиком.

П.Н.Сакулин, главным образом, в труде о В.Ф.Одоевском показал себя даровитым практиком историко-литературной работы. Как же теперь он справляется со своими сложными теоретическими заданиями?

"Методология, в конце концов, есть мирозерцание". Будучи сторонником "научного реализма", П.Н.Сакулин полагает, что таким мировоззрительным базисом может быть для методологии истории литературы только марксизм, исторический (диалектический) материализм.

"В настоящее время, — пишет он, — эта социологическая доктрина более, чем какая-либо другая, отвечает требованиям научного реализма и, по широте своего захвата, может служить надежной опорой для наших методологических построений. Отсюда я и беру «общие принципы» для социологического метода" ("Социолог, метод", стр. 37). Далее автор неоднократно настаивает на серьезном, научном использовании марксизма для "специфических проблем нашей науки", справедливо обрушиваясь на тех вульгаризаторов марксизма, у которых, "приводной ремень с машины прямо перекинут на шею идеолога, и голова его в каждом своем повороте подчиняется движению махового колеса" (Ibid., стр. 109). Всему этому соответствует широкая начитанность в марксистской литературе и более чем достаточная цитация почти сплошь из авторов-марксистов.

Но одно дело — цитата; другое — использование ее. Одно дело — "общие принципы", другое — конкретное приложение их.

Обширная эрудиция П.Н.Сакулина часто применяется без надлежащих поводов. В вышеназванных книгах его слишком много излишнего, побочного, несущественного. Автор с увлечением доказывает такие новые и туманно сформулированные истины, как то, что "творчество в сущности есть процесс самовыявления поэта" и что личность писателя не должна быть игнорируема историком литературы (Ibid., стр. 131 и 133). В таких формулировках подобные утверждения ровно ничего не значат, и им не место в серьезных методологических работах.

И в то же время использование общих принципов диалектического материализма для историко-литературной методологии представляется нам проверенным далеко не безупречно.

Дело, конечно, не в том, что автор, требующий оперирования "точными социологическими терминами", называет профессиональную группу писателей — "писательским классом" (Ibid., стр.33). Дело не в этих мелочах, а вот в чем. Марксизм, прежде всего, не только "социологическая доктрина", а строго определенное монистическое мировоззрение.

Очевидно, что методология истории литературы, опирающаяся на общие принципы марксизма, раньше всего должна быть строго монистической.

Но именно отсутствием монизма, цельного единства и страдает методологическая система П.Н.Сакулина.

У него для изучения литературы существуют два метода: для "имманентного изучения" — формальный метод и только для "каузального", исторического изучения — метод социологический.

Сам П.Н.Сакулин пишет: "Элементы поэтической формы (звук, слово, образ, ритм, композиция, жанр), поэтическая тематика, художественный стиль в целом — все это предварительно изучается имманентно, с помощью тех методов, какие выработала теоретическая поэтика, опираясь на психологию, эстетику и лингвистику, и какие, в частности, практикуются ныне так называемым формальным методом. По существу это — наиболее ценная часть нашей работы... В результате (ее) перед нами стоят: произведение как художественный организм; жанр как живой комплекс формальных признаков; писатель как творческая индивидуальность, и школа как художественно-стилевое единство" ("Социолог, метод", стр. 27).

Все это, по П.Н.Сакулину, не выходит "за пределы имманентного изучения", по отношению к которому социологический метод не правомочен.

И только когда закончено "имманентное изучение", когда мы переходим к изучению причинной обусловленности литературы, ее "социологической каузальности", только тогда вступает в свои права социологический метод. В этом, но только в этом "каузальном ряду первенство принадлежит социологическому методу" (Ibid., стр. 31).

Подобное построение не может не вызвать ряда возражений.

Даже оставаясь на точке зрения П.Н.Сакулина, естественно спросить о том, как же объединяется и связывается "имманентное" и "каузальное" изучение литературы.

Трудно представить себе, чтобы П.Н.Сакулин серьезно полагал, будто возможно имманентное пользование различными методами без необходимости их органического синтеза как телеологического единства задач исследования. Без этого ведь невозможно ни одно серьезное исследование и никакая наука.

А между тем именно на этот основной вопрос автор не дает никаких положительных ответов. В результате его исследования так и остаются эти два — или даже больше — метода как замкнутые, автономные, самозаконные факторы. Внутренне они не объединены. Систематическое

единство не предусмотрено даже в виде задания. Связь между ними в лучшем случае — только механическая.

Это дает нам право на следующий вывод: методологическая система П.Н.Сакулина дуалистична или даже плюралистична. Во всяком случае тот монизм, к которому неоднократно взывает наш автор, остается в его работах только лирическим пожеланием.

Тем же дуализмом проникнута и схема исторического развития литературы, рисуемая П.Н.Сакулиным.

В целомом потоке исторической жизни он различает два типа развития — развитие эволюционное, развитие "по природе", происходящее в силу известных свойств и способностей, присущих субъекту развития, и затем — развитие каузальное, вызываемое внешними причинами.

П.Н.Сакулин, стремясь "вести каузальность в законные границы", всячески выдвигает на первый план эволюционное развитие.

Но не мешает ввести в те же законные границы и понятие эволюционности, развития "по природе".

Что она может означать в мире природном? Только самую способность развития, констатирования факта, что данный субъект может развиваться в таких-то пределах. Несколько упрощенно говоря, эволюционность в смысле П.Н.Сакулина означает только то, что в соответствующих природных условиях верба способна расти и что на ней никогда не вырастут бананы. И — только. Как же вырастет данное дерево или данный человек — все это зависит от окружающих, т.е. внешних по отношению к субъекту развития условий.

То же самое должно сказать и о литературе — о писателях, жанрах, школах. Литература как искусство слова способна развивать энергию словесного творчества. Это и есть эволюционность П.Н.Сакулина.

Но как и куда направится эта словесная энергия, какие писатели процветут, какие жанры оформятся, какие школы создадутся — все это зависит, все это обуславливается сложным комплексом многообразных причин исторического характера.

Это и будет тем, что П.Н.Сакулин называет каузальностью. Иначе говоря, эволюционность и каузальность — не отдельные, не самостоятельные "факторы" исторической жизни. Больше того: эволюционность сплошь обуславливается каузальностью. И наконец: в процессе живого становления истории точно разграничить их между собою нельзя.

Делая все же это, систематически обособляя их друг от друга, П.Н.Сакулин, как бы он ни протестовал против этого, утверждает в своей схеме исторического развития литературы некий метафизический дуализм.

Благодаря этому он подрывает фундамент своего же собственного социологического метода.

Конечно, только иронически можно принять его утверждение, будто в его системе "социологизм насквозь пропитывает работу историка литературы и самым активным образом влияет на все построение нашей науки" ("Социолог, метод", стр. 32).

Где же этот социологизм в "имманентном" изучении литературы? Какой же возможен социологизм, если литература развивается сама по себе, из себя, "по природе"?

Для нас очевидно, что без социологизма невозможно никакое, даже "имманентное" изучение литературы.

Конечно, впервые знакомясь с каким-либо художественным текстом, или подсчитывая количество гласных в данном стихотворении, или прослеживая технические приемы построения новеллы, я остаюсь вне пределов социологизма. Но ведь это же не изучение, тем более — не наука.

Но стоит только заинтересоваться вопросом о художественных функциях данных приемов, а тем более — перейти к вопросам тематики, жанра и стиля, как тотчас же по необходимости выходишь за пределы "имманентного" изучения и попадаешь в открытое море социологизма.

Это неизбежно по существу дела: телеология и история, обуславливающие любой литературный факт, — категории социологического порядка.

П.Н.Сакулин должен понимать, что все это происходит не из предвзятости и не от догматизма. В противном случае пришлось бы в этом обвинить и его собственные работы, хотя бы о Некрасове и Салтыкове.

Таким образом, коренная ошибка П.Н.Сакулина именно в том и заключается, что социологизм отнюдь не "насквозь пропитывает" его методологию.

Осуществление же методологического монизма, серьезно и основательно опирающегося на диалектический материализм, могло и должно было заключаться только в этом.

Нужно было шире понять сферу применения социологического метода. Нужно было ввести в него и "имманентное" изучение художественных произведений, используя для этого и увязавши с ним все то положительное и ценное, что дали другие методы, в частности, — так называемый формальный (морфологический) метод.

И в этом не было бы скверного и поверхностного эклектизма, ибо по самому существу своему социологический метод есть метод синтетический.

И П.Н.Сакулин как будто представляет и понимает возможность именно такого построения методологии истории литературы. Полемизируя с теоретиками "Лефа", он по крайней мере, пишет следующее: "Как только "научная поэтика" выйдет из круга, очерченного Опоязом, и как только поэзия перейдет в ведение историка, — тогда и темы и самые приемы их обработки придется изучать в связи с "социальной группой, которую «обслуживает» поэт" ("Социолог, метод", стр. 18.).

Даже — не можно будет, а придется. Не один из путей, а единственный путь. Но сам П.Н.Сакулин не пошел им.

Не умея или не желая подняться на высоты методологического монизма, он чисто догматически поделил владения историка литературы на отдельные урочища, отдавши их на откуп различным держателям различных методологических ценностей. "Имманентное" урочище — формалисту, "каузальное" — социологу-марксисту, "помологическое" — мифическому синтетику.

И потому его собственная методологическая система не только плюралистична, но и эклектична. Говоря иначе, у П.Н.Сакулина нет системы как закономерного и цельного единства идей и принципов.

Может быть, лучшим в смысле наглядности доказательством этого являются те "помологические обобщения", которые предлагает П.Н.Сакулин в заключение своего "синтетического построения истории литературы".

Правда, он предусмотрительно оговаривается, что "отыскание помологических обобщений для нас дело новое, и мы еще недостаточно глубоко проникли в специфическую природу нашего предмета" ("Синтетическое построение", стр. 77). Но ведь существа вопроса это не меняет. "Помологические обобщения", как бы они ни были новы, должны охватить область философии литературы, т.е. общие законы развития литературы.

Какие же законы формулирует наш автор?

Закон противоположностей и скачков. Закон исторической инерции. Закон сохранения творческой энергии. Закон параллелизма. Закон внутреннего единства.

П.Н.Сакулин предвидит, что эти обобщения "могут оказаться спорными и недостаточными".

Дело не в том, спорны они или нет, а в том, что это вовсе не законы развития литературы. Хотелось бы видеть историю литературы, написанную на основании таких "законов".

П.Н.Сакулин просто перенес в область литературы некоторые, далеко не основные обобщения социологии, психологии и естествознания и, никак не связавши их между собой, не раскрывши их причинную и функциональную зависимость и связь, объявил этот винегрет законами литературного развития. Открывать такие "законы" более чем легко. Но ведь это занятие для мольеровского героя, который, говоря прозой, воображает, что он говорит стихами.

Не наше дело "читать в сердцах" и строить догадки, почему благие намерения П.Н.Сакулина окончились такой неудачей.

Но констатировать факт мы должны: методологической системы у П.Н.Сакулина нет; его построения очень далеки от общих принципов марксизма; в его социологизме нет социологии.

*Павел Медведев*

Январь 1926 г.

В. Н. ВОЛОШИНОВ

## СЛОВО В ЖИЗНИ И СЛОВО В ПОЭЗИИ

К ВОПРОСАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

1

Социологический метод в науке о литературе применялся почти исключительно при разработке исторических вопросов, между тем как проблемы так называемой теоретической поэтики — весь круг вопросов, касающихся художественной формы, ее различных моментов, стиля и пр. — остался почти нетронутым этим методом.

Существует ложное мнение, которого, тем не менее, придерживаются и некоторые марксисты, что социологический метод вступает в свои права только там, где художественная поэтическая форма, осложненная идеологическим моментом — моментом содержания, — начинает развиваться исторически в условиях внешней социальной действительности. Самая же форма обладает своею особою, не социологическою, а специфически художественной природой и закономерностью.

Такой взгляд в корне противоречит самым основам марксистского метода: его монизму и его историчности. Разрыв между формой и содержанием, разрыв между теорией и историей — вот результат подобных воззрений.

Но задержимся на этих ложных взглядах несколько подробнее: они слишком характерны для всего современного искусствоведения.

Наиболее ясное и последовательное развитие этой точки зрения дано недавно проф. Сакулиным<sup>1</sup>. Он различает в литературе и ее истории два ряда: имманентный (внутренний) и каузальный (причинный). Имманентное "художественное ядро" литературы обладает особою, только ему присущей, структурой и закономерностью; при этом оно способно и на самостоятельное эволюционное развитие "по природе". Но в процессе этого развития литература подвергается "причинному" воздействию внехудожественной социальной среды. С "имманентным ядром" литературы, с его структурой и автономной эволюцией социологу нечего делать, — здесь компетентна только теоретическая и историческая поэтика с ее особыми методами<sup>2</sup>. Социологический же метод может с успехом изучать только причинное взаимодействие литературы с окружающей ее внехудожественной социальной средой. При этом имманентный (не социологический) анализ сущности литературы и ее

<sup>1</sup> См. П. Н. Сакулин. Социологический метод в литературоведении. 1925 г.

<sup>2</sup> "Элементы поэтической формы (звук, слово, образ, ритм, композиция, жанр), поэтическая тематика, художественный стиль в целом — все это предварительно изучается имманентно, с помощью тех методов, какие выработала теоретическая поэтика, опираясь на психологию, эстетику и лингвистику, и какие, в частности, практикуются ныне так называемым формальным методом" (Сакулин. Социолог, метод в литературовед, стр. 27).

внутренней автономной закономерности должен предшествовать социологическому\*.

С таким утверждением социолог-марксист, конечно, не может согласиться. Но тем не менее приходится признать, что до сих пор социология разрабатывала почти исключительно конкретные вопросы истории литературы и не сделала ни одной серьезной попытки изучить с помощью своих методов так называемую "имманентную" структуру художественного произведения. Эта последняя фактически всецело предоставлена в ведение эстетического, психологического и иных методов, ничего общего с социологией не имеющих.

Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть любую современную работу по поэтике, да и вообще по теоретическому искусствоведению. Мы не найдем в них и следа применения социологических категорий. Искусство трактуется так, как если бы оно "по природе" было в такой же степени несоциологично, как несоциологична физическая или химическая структура тела. Большинство западноевропейских и русских искусствоведов так именно и утверждают относительно литературы и всего искусства и на этом основании настойчиво отгораживают искусствоведение как специальную науку от каких бы то ни было социологических подходов.

Свое утверждение они мотивируют примерно следующим образом. Каждая вещь, ставшая предметом спроса и предложения, то есть товаром, подчиняется в своей ценности и в своем движении внутри человеческого общества социально-экономической закономерности; допустим, что мы отлично знаем эту закономерность, но несмотря на это, мы еще ровно ничего не поймем в физической и химической структуре этой ставшей товаром вещи. Наоборот, товароведение еще само нуждается в предварительном физико-химическом анализе ее. И такой анализ компетентен дать только физико-химик с помощью своих специфических методов. Аналогично, по мнению этих искусствоведов, обстоит дело и с искусством. И оно, становясь социальным фактором и подвергаясь влиянию других социальных же факторов, подчиняется, конечно, общей социологической закономерности, — но из этой закономерности мы никогда не сможем вывести его эстетической сущности, как не можем вывести химической формулы какого-нибудь товара из экономической закономерности товарооборота. Искусствоведение и теоретическая поэтика должны

---

<sup>1</sup> "Видя в литературе социальное явление, мы с неизбежностью приходим к вопросу об ее причинной обусловленности. Для нас это — социологическая каузальность. Только теперь историк литературы получает право стать в позу социолога и выдвигать свои "почему", чтобы литературные факты включить в общий процесс социальной жизни данного периода, и чтобы вслед за этим определить их место во всем историческом движении. Тут-то и вступает в свою силу социологический метод, который, в применении к истории литературы, становится историко-социологическим.

В первой имманентной стадии произведение мыслилось как художественная ценность в ее социальном и историческом значении" (*Сакулин*. Соц. мет. в литературовед, стр. 27 и 28).

искать именно такую независимую от социологии "специфическую" формулу для художественного произведения.

Такое понимание существа искусства, как уже сказано» в корне противоречит основам марксизма. Химической формулы, действительно, методом социологии не найдешь, — но научную "формулу" для какой бы то ни было области идеологии можно найти только социологическими методами. Все остальные — "имманентные" — методы запутываются в субъективизме, до сих пор не могут выйти из бесплодной борьбы мнений и точек зрения и менее всего способны дать нечто, хотя бы отдаленно похожее на строгую, точную химическую формулу. На это последнее, конечно, не может претендовать и марксистский метод: в области науки об идеологии по самому существу предмета изучения невозможна строгость и точность естествознания. Но наибольшая степень приближения к действительной научности в изучении идеологического творчества впервые стала возможной благодаря социологическому методу в его марксистском понимании. Физические и химические тела существуют и вне человеческого общества, — все же продукты идеологического творчества вырастают только в нем и для него. Социальные определения не приходят к ним извне, как к телам природы, — идеологические образования внутренне, имманентно, социологичны. Едва ли кто-нибудь стал бы это отрицать относительно политических и правовых форм: какую имманентную несоциологическую сущность можно в них найти? Самые тонкие формальные нюансы права и политического строя равно доступны социологическому методу и только ему. Но то же самое справедливо и для других идеологических форм. Все они — сплошь социологичны, хотя структура их, зыбкая и сложная, с большим трудом поддается точному анализу.

Так же имманентно-социально и искусство: внехудожественная социальная среда, воздействуя на него извне, находит в нем непосредственный внутренний отклик. Здесь не чуждое воздействует на чуждое, а одно социальное образование, — на другое. Эстетическое — так же, как и правовое и познавательное — только разновидность социального, — теория искусства может быть, следовательно, только социологией искусства<sup>1</sup>. Никаких "имманентных" задач у нее не остается.

## II

Для правильного и продуктивного применения социологического анализа в теории искусства, и в частности в поэтике, необходимо отрешиться от двух ложных воззрений, которые крайне сужают пределы искусства, изолируя только отдельные моменты его.

---

<sup>1</sup> Мы различаем теорию и историю искусства только в порядке технического разделения труда. Никакого методологического разрыва между ними не должно быть. Исторические категории применяются, конечно, решительно во всех областях гуманитарных наук как и исторических, так и теоретических.

Первое воззрение можно определить как фетишизацию художественного произведения-вещи. Этот фетишизм является в настоящее время преобладающим в искусствоведении. Поле зрения исследователя ограничивается художественным произведением, которое анализируется так, как если бы им исчерпывалось все в искусстве. Творец и созерцатели остаются вне поля рассмотрения.

Вторая точка зрения, наоборот, ограничивается изучением психики или творца, или созерцателя (чаще же просто ставят между ними знак равенства). Переживания созерцающего или творящего человека для нее исчерпывают искусство.

Таким образом, для одной точки зрения предметом исследования является только структура вещи-произведения, для другой — только индивидуальная психика творца или созерцателя.

Первая точка зрения выдвигает на передний план эстетического исследования материал. Форма — понята очень узко, как форма материала, организующая его в единичную, законченную вещь — становится главным, почти единственным предметом исследования.

Разновидностью этой первой точки зрения является и так называемый "формальный метод". Поэтическое произведение является для него словесным материалом, определенным образом организованным формой. При этом слово берется им не как социологическое явление, а с отвлеченно-лингвистической точки зрения. Это и вполне понятно: слово, взятое шире, как явление культурного общения, перестает быть самодовлеющей вещью и уже не может быть понято независимо от породившей его социальной ситуации.

Первую точку зрения нельзя последовательно провести до конца. Дело в том, что, оставаясь в пределах вещной стороны искусства, невозможно указать даже границу материала и те стороны его, которые имеют художественное значение. Материал сам по себе непосредственно сливается с окружающей его внехудожественной средой и имеет бесконечное количество сторон и определений: математических, физических, химических и, наконец, лингвистических. Сколько бы мы ни анализировали все свойства материала и все возможные комбинации этих свойств, — мы никогда не сможем найти их эстетического значения, не привнося контрабандой иной точки зрения, уже не укладывающейся в рамки материального анализа. Подобно этому, сколько бы мы ни анализировали химическую структуру какого-нибудь тела, мы, не привлекая к делу экономической точки зрения, никогда не поймем его товарного значения и ценности.

Столь же безнадежной является попытка второй точки зрения найти эстетическое в индивидуальной психике творца или созерцателя. Продолжая нашу экономическую аналогию, можно сказать, что этому была бы подобна попытка путем анализа индивидуальной психики пролетария вскрыть те объективные производственные отношения, которые определяют его положение в обществе.

В конечном счете, обе точки зрения грешат одним и тем же недостатком: они пытаются в части найти все целое; структуру части, абстрактно оторванной ими от целого, они выдают за структуру всего

целого. Между тем "художественное" в своей целокупности находится не в вещи, и не в изолированно взятой психике творца, и не в психике созерцателя — "художественное" обнимает все эти три момента. Оно является особой формой взаимоотношения творца и созерцателей, закрепленной в художественном произведении.

Это художественное общение вырастает из общего с другими социальными формами базиса, но сохраняет при этом свое своеобразие: это особый тип общения, обладающий собственной, только ему свойственной формой. Понять эту особую форму социального общения, реализованного и закрепленного в материале художественного произведения, и является задачей социологической поэтики.

Художественное произведение, взятое вне этого общения и независимо от него, является просто физической вещью или лингвистическим упражнением, — художественным оно становится только в результате взаимодействия творца и созерцателя как существенный момент в событии этого взаимодействия. Все то в материале художественного произведения, что не может быть вовлечено в общение творца и созерцателя, что не может стать "медиумом", средой этого общения, — не может получить и художественного значения.

Те методы, которые игнорируют социальную сущность искусства, пытаясь найти его природу и особенности только в организации произведения-вещи, на самом деле принуждены проецировать социальное взаимоотношение творца и созерцателя в различные стороны материала и приемов его оформления. Также точно и психологическая эстетика проецирует те же отношения в индивидуальную психику воспринимающего. Эта проекция искажает чистоту взаимоотношений и дает ложное представление как о материале, так и о психике.

Эстетическое общение, закрепленное в художественном произведении, как мы уже сказали, совершенно своеобразно и несводимо к другим типам идеологического общения — политическому, правовому, моральному и др. Если политическое общение создает соответствующие учреждения и правовые формы, то эстетическое общение организует только художественное произведение. Если же оно отказывается от этой задачи, если оно начинает стремиться создать хотя бы мимолетную политическую организацию или какую-нибудь иную политическую форму, то утрачивает свое своеобразие. Характерной чертой эстетического общения и является то, что оно вполне завершается созданием художественного произведения и его постоянными воссозданиями в сотворческом созерцании и не требует иных объективации. Но, конечно, эта своеобразная форма общения не изолирована: она причастна единому потоку социальной жизни, отражает в себе общий экономический базис и вступает во взаимодействие и обмен силами с другими формами общения.

Задачей нашей работы является попытка понять форму поэтического высказывания как форму этого особого эстетического общения, осуществленного на материале слова. Но для этого нам придется более подробно разобрать некоторые стороны словесного высказывания вне искусства —

в обычной жизненной речи, так как уже в ней заложены основы, потенции (возможности) будущей художественной формы. Социальная сущность слова выступает здесь яснее, отчетливее, и легче поддается анализу связь высказывания с окружающей социальной средой.

### III

Слово в жизни явно не довлеет себе. Оно возникает из внесловесной жизненной ситуации и сохраняет самую тесную связь с ней. Более того, слово непосредственно восполняется самой жизнью и не может быть оторвано от нее без того, чтобы не утратить своего смысла.

Вот характеристики и оценки, которые мы обычно даем отдельным жизненным высказываниям: "это ложь", "это правда", "это смело сказано", "этого нельзя было говорить" и проч. и проч.

Все эти и подобные им оценки, каким бы критерием — этическим, познавательным, политическим или иным — они ни руководились, захватывают дальше и больше того, что заключено собственно в словесном, лингвистическом моменте высказывания: вместе со словом они захватывают и внесловесную ситуацию высказывания. Эти суждения и оценки относятся к некоторому целому, в котором слово непосредственно соприкасается с жизненным событием и сливается с ним в неразрывное единство. Само слово, взятое изолированно, как чисто лингвистическое явление, конечно, не может быть ни истинным, ни ложным, ни смелым, ни робким.

Как же относится жизненное слово к породившей его внесловесной ситуации? Разберем это на примере, намеренно упрощенном.

Двое сидят в комнате. Молчат. Один говорит: "так!". Другой ничего не отвечает.

Для нас, не находившихся в комнате в момент беседы, весь этот "разговор" совершенно непонятен. Изолированно взятое высказывание "так" пусто и совершенно бессмысленно. Но тем не менее эта своеобразная беседа двоих, состоящая из одного только, правда, выразительно проинтонированного слова, полна смысла, значения и вполне закончена.

Чтобы вскрыть смысл и значение этой беседы, необходимо ее проанализировать. Но что, собственно, можем мы здесь подвергнуть анализу? Сколько бы мы ни возились с чисто словесной частью высказывания, как бы тонко мы ни определили фонетический, морфологический, семантический момент слова "так", — мы ни на один шаг не приблизимся к пониманию целостного смысла беседы.

Допустим, что нам известна и интонация, с которой было произнесено наше слово, — возмущенно-укоризненная, но смягченная некоторой долей юмора. Это несколько заполняет для нас семантическую пустоту наречия "так", но все же не раскрывает значения целого.

Чего же нам не хватает? — Того "внесловесного контекста", в котором осмысленно звучало слово "так" для слушателя. Этот внесловесный контекст высказывания складывается из трех моментов: 1) из общего для говорящих пространственного кругозора (единство видимого — комната, окно и проч.); 2) из общего же для обоих

знания и понимания положения и, наконец, 3) из общей для них оценки этого положения.

В момент беседы оба собеседника взглянули в окно и увидели, что пошел снег; оба знают, что уже май месяц и что давно пора быть весне; наконец, обоим затянувшаяся зима надоела; оба ждут весны и оба огорчены поздним снегопадом. На все это — "вместе видимое" (хлопья снега за окном), "вместе известное" (дата — май) и "согласно оцененное" (надоевшая зима, желанная весна) — непосредственно опирается высказывание, все это захватывается его живым смыслом, впитывается им в себя, — однако, остается при этом словесно неотмеченным, невысказанным. Хлопья снега остаются за окном, дата — на листке календаря, оценка — в психике говорящего, — но все это подразумевается словом "так".

Теперь, когда мы приобщились к этому "подразумеваемому", т.е. к общему пространственному и смысловому кругозору говорящих, нам совершенно понятен целостный смысл высказывания "так", понятна и интонация его.

Как же относится этот внесловесный кругозор к слову, несказанное к сказанному?

Прежде всего, совершенно ясно, что слово здесь вовсе не отражает внесловесной ситуации так, как зеркало отражает предмет. В данном случае слово скорее разрешает ситуацию, как бы подводит ей окончательный итог. Гораздо чаще жизненное высказывание активно продолжает и развивает ситуацию, намечает план будущего действия и организует его. Для нас же важна другая сторона жизненного высказывания: каково бы оно ни было, оно всегда связывает между собой участников ситуации как соучастников, одинаково знающих, понимающих и оценивающих эту ситуацию. Высказывание, следовательно, опирается на их реальную, материальную принадлежность одному и тому же куску бытия, давая этой материальной общности идеологическое выражение и дальнейшее идеологическое развитие.

Внесловесная ситуация отнюдь не является, таким образом, только внешней причиной высказывания, она не воздействует на него извне как механическая сила. Нет, ситуация входит в высказывание как необходимая составная часть его смыслового состава. Следовательно, жизненное высказывание как осмысленное целое складывается из двух частей: 1) из словесно осуществленной (или актуализованной) части и 2) из подразумеваемой. Поэтому можно сравнить жизненное высказывание с "энтимемой"<sup>1</sup>.

Однако эта энтимема особого рода. Самое слово "энтимема" (энтимема в переводе с греческого значит — "находящееся в душе", "подразумеваемое"), равно как и слово "подразумеваемое", звучит слишком психологически. Можно подумать, что ситуация дана в качестве субъектив-

<sup>1</sup> "Энтимемой" в логике называется такое умозаключение, одна из посылок которого не высказывается, а подразумевается. Например, Сократ — человек, следовательно, он смертен. Подразумевается — "все люди смертны".

но-психического акта (представления, мысли, чувства) в душе говорящего. А между тем это не так: индивидуально-субъективное отступает здесь на второй план перед социально-объективным. То, что я знаю, вижу, хочу и люблю, не может подразумеваться. Только то, что мы все говорящие знаем, видим, любим и признаем, в чем мы все едины, может стать подразумеваемой частью высказывания. Далее, это социальное в основе своей вполне объективно: ведь это прежде всего материальное единство мира, входящего в кругозор говорящих (комната, снег за окном — в нашем примере), и единство реальных жизненных условий, порождающих общность оценок: принадлежность говорящих к одной семье, профессии, классу, какой-нибудь иной социальной группе, наконец, к одному времени, — ведь говорящие — современники. Подразумеваемые оценки является поэтому не индивидуальными эмоциями, а социально закономерными, необходимыми актами. Индивидуальные же эмоции только как обертоны могут сопровождать основной тон социальной оценки: "я" может реализовать себя в слове только опираясь на "мы".

Таким образом, каждое жизненное высказывание является объективно-социальной энтимемой. Это как бы "пароль", который знают только принадлежащие к тому же самому социальному кругозору. В том и особенность жизненных высказываний, что они тысячью нитей вплетены во внесловесный жизненный контекст и, будучи выделены из него, почти полностью утрачивают свой смысл: кто не знает их ближайшего жизненного контекста, тот не поймет их.

Но этот ближайший контекст может быть более или менее широким. В нашем примере он чрезвычайно узок: он определяется кругозором комнаты и момента, и высказывание осмысленно звучит только для двоих. Но тот единый кругозор, на который опирается высказывание, может расширяться и в пространстве, и во времени: бывает "подразумеваемое" семьи, рода, нации, класса, дней, лет и целых эпох. По мере этого расширения общего кругозора и соответствующей ему социальной группы, подразумеваемые моменты высказывания становятся все более и более константными.

Когда подразумеваемый реальный кругозор высказывания узок, когда он, как в нашем примере, совпадает с действительным кругозором двух людей, сидящих в одной комнате и видящих одно и то же, то подразумеваться может и самое мимолетное изменение внутри этого кругозора. Но при более широком кругозоре высказывание может опираться только на константные, устойчивые моменты жизни и на существенные, основные социальные оценки.

Подразумеваемым оценкам принадлежит при этом особенно важное значение. Дело в том, что все основные социальные оценки, непосредственно вырастающие из особенностей экономического бытия данной группы, обычно не высказываются: они вошли в плоть и кровь всех представителей этой группы; они организуют действия и поступки, они как бы срослись с соответствующими вещами и явлениями, — и потому не нуждаются в особых словесных формулировках. Нам кажется, что мы воспринимаем ценность предмета вместе с его бытием, как одно из его ка-

чество, что, например, вместе с теплом и светом солнца мы ощущаем и его ценность для нас. И так срослись с оценками все явления окружающего нас бытия. Если оценка, действительно, обусловлена самим бытием данного коллектива, то она признается догматически, как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее дискуссии. Наоборот, где основная оценка высказывается и доказывается, там она стала уже сомнительной, отделилась от предмета, перестала организовывать жизнь и, следовательно, утратила свою связь с условиями бытия данного коллектива.

Здоровая социальная оценка остается в жизни и уже отсюда организует самую форму высказывания и его интонацию, но отсюда же стремится найти адекватное выражение в содержательной стороне слова. Как только оценка из формальных моментов перекинулась в содержание, можно с уверенностью сказать, что подготавливается переоценка. Существенная оценка, таким образом, совершенно не заключена в содержании слова и не выводима из него, но зато она определяет самый выбор слова и форму словесного целого; наиболее чистое же свое выражение она находит в интонации. Интонация устанавливает тесную связь слова с внесловесным контекстом: живая интонация как бы выводит слово за его словесные пределы.

Остановимся несколько подробнее на связи интонации с жизненным контекстом в приведенном нами случае высказывания. Это позволит сделать ряд важных наблюдений над социальной сущностью интонации.

#### IV

Прежде всего нужно подчеркнуть, что слово "так" — семантически почти пустое — своим содержанием ни в какой степени не может предопределить интонации: любая интонация хорошо и свободно может овладеть этим словом — ликующая, скорбная, презрительная и др., — все зависит от того контекста, в котором слово дано. В нашем случае этим контекстом, определяющим интонацию — возмущенно-укоризненную, но смягченную юмором, — является внесловесная ситуация, нами выше разобранная, так как ближайшего словесного контекста нет. Можно заранее сказать, что и тогда, когда имеется такой ближайший словесный контекст, и притом со всех других точек зрения вполне достаточный, интонация все равно выведет нас за его пределы: понять ее до конца можно только приблизившись подразумеваемым оценкам данной социальной группы, как бы широка эта группа ни была. Интонация всегда лежит на границе словесного и не-словесного, сказанного и не-сказанного. В интонации слово непосредственно соприкасается с жизнью. И прежде всего именно в интонации соприкасается говорящий со слушателями: интонация социальна *par excellence* (по преимуществу). Она особенно чутка ко всем колебаниям социальной атмосферы вокруг говорящего.

В нашем примере интонация выросла из общей для собеседников жажды весны и общего недовольства затянувшейся зимой. На эту подразумеваемую общность оценок опиралась интонация, опиралась ясность и уверенность ее основного тона. В атмосфере сочувствия она могла сво-

бодно развернуться и дифференцироваться в пределах этого основного тона. Но если бы не было такой твердо предполагаемой "хоровой поддержки", интонация пошла бы по другому направлению, осложнилась бы иными тонами: может быть, тонами вызова, досады на слушателя или, наконец, просто свернулась бы, редуцировалась до минимума. Когда человек предполагает в другом несогласие или хотя бы не уверен, сомневается в согласии, он иначе интонирует свои слова, да и вообще иначе строит свое высказывание. Далее мы увидим, что не только интонация, но и вся формальная структура речи в значительной степени зависит от того, в каком отношении находится высказывание к подразумеваемой общности оценок той социальной среды, на которую рассчитано слово. Творчески продуктивная, уверенная и богатая интонация возможна только на основе предполагаемой "хоровой поддержки". Там же, где ее нет, голос срывается, его интонативное богатство редуцируется, как это бывает со смеющимся, когда он вдруг замечает, что смеется один: смех умолкает или вырождается, становится надрывным, теряет свою уверенность и ясность и уже не способен породить шутивных и веселых слов. Общность подразумеваемых основных оценок — это та канва, на которой вышивает интонационные узоры живая человеческая речь.

Но установка интонации на возможное сочувствие, на возможную хоровую поддержку еще не исчерпывает ее социальной природы. Это только одна сторона интонации, сторона, обращенная к слушателю, — но есть в ней еще один чрезвычайно важный для социологии слова момент.

Если мы обратимся к интонации высказывания в нашем примере, то заметим в ней одну "загадочную" черту, которая нуждается в особом объяснении.

В самом деле, в интонации слова "так" звучало не только пассивное недовольство происходящим (выпавшим снегом), но и активное возмущение и укоризна. К кому относится этот упрек? Ясно, что не к слушателю, а к кому-то другому: это направление интонационного движения явно размыкает ситуацию и дает место третьему участнику. Кто же этот третий? Кому посылается упрек? Снегу? Природе? Может быть, судьбе?

Конечно, в нашем упрощенном жизненном высказывании этот третий участник — герой словесного произведения — еще не вполне определен: интонация уже отчетливо намечает его место, но семантического эквивалента он еще не получил и остается неназванным. Интонация устанавливает здесь живое отношение к предмету, объекту высказывания, почти переходящее в обращение к нему как к воплощенному живому виновнику, причем слушатель — второй участник — как бы призывается в свидетели и союзники.

Почти всякая живая интонация возбужденной жизненной речи протекает так, как если бы за предметами и вещами она обращалась к живым участникам и двигателям жизни, — ей в высшей степени присуща тенденция к персонификации. Если интонация не умеряется, как в нашем примере, некоторой долей иронии, если она наивна и непосред-

венна, то из нее рождается мифологический образ, заклинание, молитва, — так и было на ранних ступенях культуры. В нашем же случае мы имеем дело с чрезвычайно важным явлением языкового творчества — с интонационной метафорой: интонация звучит так, как если бы слово укоряло живого виновника Позднего снега — зиму. В нашем примере перед нами чистая интонационная метафора, ни в чем не выходящая за пределы интонации, но в ней, как в колыбели, дремлет возможность обычной семантической метафоры. Если бы эта возможность осуществилась; то слово "так" развернулось бы, примерно, в следующее метафорическое выражение: "Вот упрямая зима, не желает сдаваться, а уж пора бы!". Но эта возможность, заложенная в интонации, осталась неосуществленной: высказывание удовлетворилось почти пустым семантически наречием "так".

Следует отметить, что интонация в жизненной речи в общем гораздо метафоричнее слов, — в ней как бы жива еще древняя мифотворческая душа. Интонация звучит так, как будто мир вокруг говорящего еще полон одушевленных сил: она грозит, негодует, или любит и ласкает одушевленные предметы и явления, в то время как обычные метафоры разговорного языка в большинстве своем выветрились, и семантически слова скупы и прозаичны.

Тесное родство связывает интонационную метафору с метафорой жестикуляционной (ведь и самое слово было первоначально языковым жестом, компонентом сложного, общетелесного жеста), причем жест мы понимаем здесь широко, включая сюда и мимику как жестикуляцию лица. Жест, как и интонация, нуждается в хоровой поддержке окружающих: только в атмосфере социального сочувствия возможен свободный и уверенный жест. С другой стороны, жест как и интонация, замыкает ситуацию, вводит третьего участника — героя. В жесте всегда дремлет зародыш нападения или защиты, угрозы или ласки, причем созерцателю и слушателю отводится место союзника или свидетеля. Часто этот "герой" жеста — только неодушевленная вещь, явление или какое-нибудь жизненное обстоятельство. Как часто в порыве досады грозим мы кому-то кулаком или просто грозно глядим в пустое пространство, а улыбаться мы умеем буквально всему: солнцу, деревьям, мыслям.

Необходимо все время помнить следующее (а психологическая эстетика это часто забывает): интонация и жест активны и объективны по своей тенденции. Они выражают не только пассивное душевное состояние говорящего, но в них всегда заложено живое энергичное отношение к внешнему миру и к социальному окружению — к врагам, друзьям, союзникам. Интонируя и жестикулируя, человек занимает активную социальную позицию к определенным ценностям, обусловленную самыми основами его общественного бытия. Именно эта объективно-социологическая, а не субъективно-психологическая сторона интонации и жеста должна интересовать теоретиков соответствующих искусств, так как в ней заложены и эстетически-творческие, создающие и организующие художественную форму силы этих явлений.

Итак, всякая интонация ориентируется в двух направлениях: по отношению к слушателю как союзнику или свидетелю и по отношению к

предмету высказывания как третьему живому участнику; интонация бранит его, ласкает, принижает или возвеличивает. Эта двойная социальная ориентировка определяет и осмысливает все стороны интонации. Но это же справедливо и для других моментов словесного высказывания: все они организуются и всесторонне оформляются в том же процессе двойной ориентации говорящего, — только на интонации как на самом чутком, гибком и свободном моменте слова это социальное происхождение легче всего обнаруживается.

Таким образом (мы это уже и сейчас вправе сказать), всякое действительно произнесенное (или осмысленно написанное), а не дремлющее в лексиконе слово есть выражение и продукт социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушателя (читателя) и того, о ком (или о чем) говорят (героя). Слово — социальное событие, оно не довлеет себе как некая абстрактно-лингвистическая величина, не может быть и психологически выведено из изолированно взятого субъективного сознания говорящего. Поэтому-то формально лингвистический и психологический подход одинаково бьют мимо цели: конкретная социологическая сущность слова, которая только и делает его правдой или ложью, подлым или благородным, нужным или не нужным, с этих обеих точек зрения остается непонятной и недоступной. Разумеется, эта же "социальная душа" слова делает его и художественно значимым — прекрасным или безобразным. Правда, при подчинении основному и более конкретному социологическому подходу обе абстрактные точки зрения — формально-лингвистическая и психологическая — сохраняют свое значение. Их сотрудничество даже совершенно необходимо, но сами по себе, в своей изоляции, они мертвы.

Конкретное высказывание (а не лингвистическая абстракция) рождается, живет и умирает в процессе социального взаимодействия участников высказывания. Его значение и его форма в основном определяется формой и характером этого взаимодействия. Оторвав высказывание от этой реальной питающей его почвы, мы теряем ключ как к его форме, так и к его смыслу, — в руках у нас остается или абстрактная лингвистическая оболочка, или абстрактная же схема смысла (пресловутая "идея произведения" старых теоретиков и историков литературы) — две абстракции, которые несоединимы между собой, ибо нет конкретной почвы для их живого синтеза.

---

Теперь остается только подвести итоги нашему маленькому анализу жизненного высказывания и тех художественных потенциалов, ростков будущей формы и содержания, которые мы в нем обнаружили.

Жизненный смысл и значение высказывания (каковы бы они ни были) не совпадают с чисто словесным составом высказывания. Сказанные слова пропитаны подразумеваемым и несказанным. То, что называется "пониманием" и "оценкой" высказывания (согласие или несогласие), всегда захватывает вместе со словом и внесловесную жизненную ситуацию. Жизнь, таким образом, не воздействует на высказывание извне: она

проникает его собою изнутри как единство и та общность окружающего говорящих бытия и выросших из этого бытия существенных социальных оценок, вне которых никакое осмысленное высказывание невозможно. Интонация лежит на границе жизни и словесной части высказывания, она как бы перекачивает энергию жизненной ситуации в слово, она придает всему лингвистическому устойчивому живое историческое движение и однократность. Наконец, высказывание отражает в себе социальное взаимодействие говорящего, слушателя и героя, является продуктом и фиксацией на материале слова их живого общения.

Слово — это как бы "сценарий" некоторого события. Живое понимание целостного смысла слова должно репродуцировать это событие взаимного отношения говорящих, как бы "разыграть" его, причем понимающий берет на себя роль слушателя. Но чтобы выполнить эту роль, он должен отчетливо понять и позиции других участников.

Для лингвистической точки зрения не существует, конечно, ни этого события, ни его живых участников, — она имеет дело с абстрактным, голым словом и его абстрактными же моментами (фонетическим, морфологическим и пр.); поэтому-то целостный смысл слова и его идеологическая ценность — познавательная, политическая, эстетическая — недоступны для этой точки зрения. Как не может быть лингвистической логики или лингвистической политики, так не может быть и лингвистической поэтики.

## V

Чем отличается художественное словесное высказывание — законченное поэтическое произведение — от высказывания жизненного?

С первого же взгляда ясно, что здесь слово не находится и не может находиться в такой же тесной зависимости от всех моментов внесловесного контекста, от всего непосредственно видимого и знакомого, как в жизни. Поэтическое произведение не может опираться на вещи и на события ближайшего окружения как на нечто само собою разумеющееся, не вводя даже ни единого намека на них в словесную часть высказывания. С этой стороны к слову в литературе предъявляются, конечно, гораздо большие требования: многое, что осталось в жизни за пределами высказывания, должно найти теперь словесного представителя. С точки зрения предметно-прагматической в поэтическом произведении не должно быть недосказанностей.

Следует ли из этого, что в литературе говорящий, слушающий и герой впервые сходятся, ничего друг о друге не знают, не имеют общего кругозора, и потому им не на что опереться и нечего подразумевать? Некоторые, действительно, склонны так думать.

На самом же деле и поэтическое произведение тесно вплетено в невысказанный контекст жизни. Если бы действительно автор, слушатель и герой сошлись бы впервые как абстрактные люди, не связанные никаким единым кругозором, и брали бы слова из лексикона, то едва ли получилось бы даже и прозаическое произведение и, уж конечно, не поэтическое. Наука до известной степени приближается к этому пределу, —

научное определение имеет минимум подразумеваемого; но можно было бы показать, что совсем обойтись без подразумеваемого и она не может.

Особенно важна в литературе роль подразумеваемых оценок. Можно сказать, что поэтическое произведение — могущественный конденсатор невысказанных социальных оценок: каждое слово насыщено ими. Эти-то социальные оценки и организуют художественную форму как свое непосредственное выражение.

Оценками прежде всего определяется выбор слова автором и ощущение этого выбора (со-выбор) слушателем. Ведь поэт выбирает слова не из словаря, а из жизненного контекста, где они отстоялись и пропитались оценками. Он выбирает, таким образом, оценки, связанные со словами, и притом с точки зрения воплощенных носителей этих оценок. Можно сказать, что поэт все время работает с сочувствием или несочувствием, с согласием или несогласием слушателя. Кроме того, оценка активна и по отношению к предмету высказывания — герою. Простой выбор эпитета или метафоры есть уже активный оценивающий акт, ориентирующийся в обоих этих направлениях: к слушателю и к герою. Слушатель и герой — постоянные участники события творчества, которое ни на один миг не перестает быть событием живого общения между ними.

Задача социологической поэтики была бы разрешена, если бы удалось объяснить каждый момент формы как активное выражение оценки в этих двух направлениях — к слушателю и к предмету высказывания — герою<sup>1</sup>. Но для выполнения такой задачи в настоящее время слишком мало данных. Возможна только попытка наметить хотя бы предварительные пути в этом направлении.

Современная формалистическая эстетика определяет художественную форму как форму материала. При последовательном проведении этой точки зрения приходится игнорировать содержание — для него не остается места в художественном произведении; в лучшем случае оно оказывается моментом материала и таким образом лишь косвенно организуется художественной формой, относящейся непосредственно к материалу<sup>2</sup>.

При таком понимании форма теряет свой оценивающий активный характер и становится лишь возбудителем совершенно пассивных приятных ощущений в воспринимающем.

Форма, разумеется, осуществлена при помощи материала, закреплена в нем, но в своем значении она выходит за ее пределы. Значение, смысл формы относится не к материалу, а к содержанию. Так, можно сказать, что форма статуи не есть форма мрамора, а форма человеческого тела, причем она "героизирует" изображение человека, или "ласкает", или, может быть, "принижает" его (карикатурный стиль в пластике), т.е. выражает определенную оценку изображенного.

Но особенно ясно это ценностное значение формы в поэзии. Ритм и другие формальные элементы явно выражают некоторое активное отно-

---

<sup>1</sup> Мы отвлекаемся здесь от вопросов техники формы, о которой мы скажем несколько позже.

<sup>2</sup> Точка зрения В.М.Жирмунского.

шение к изображаемому: форма воспевает, оплакивает или высмеивает его.

Психологическая эстетика называет это "эмоциональным моментом" формы. Для нас же важна здесь не психологическая сторона дела, важно не то, какие именно психические силы принимают участие в творчестве и в сотворческом восприятии формы, — важно значение этих переживаний, их активность, их направленность на содержание. С помощью художественной формы творец занимает некоторую активную позицию по отношению к содержанию. Форма сама по себе не должна быть обязательно приятной — гедонистическое объяснение ее нелепо, — форма должна быть убедительной оценкой содержания. Так, форма врага может быть и отвратительной, — результирующее в окончательном итоге положительное состояние, удовольствие созерцающего является следствием того, что это — достойная врага форма и что она технически совершенно осуществлена с помощью материала. В этих двух направлениях и должна быть изучена форма: в отношении к содержанию как идеологическая оценка его, в отношении к материалу как техническое осуществление этой оценки.

Выраженная формой идеологическая оценка отнюдь не должна переходить в содержание в виде какой-нибудь сентенции, морального, политического или иного суждения. Оценка должна остаться в ритме, в самом ценностном движении эпитета, метафоры, в порядке разворачивания изображенного события; она должна осуществляться только формальными средствами материала. Но в то же время, не переходя в содержание, форма не должна терять и связи с ним, отнесенности к нему, — в противном случае, она становится техническим экспериментом, лишенным всякого действительного художественного смысла.

То общее определение стиля, которое было дано еще классической и неоклассической поэтикой, и основное разделение стиля на "высокий" и "низкий" верно выдвигает именно эту активно оценивающую природу художественной формы. Структура формы, действительно, иерархична, и в этом смысле она близка к политическим и правовым градациям. Подобно им она создает в художественно оформленном содержании сложную систему иерархических взаимоотношений: каждый элемент ее — например эпитет или метафора — или возводит определяемое в высшую степень, или низводит, или уравнивает его. Выбор героя или события определяет с самого начала общую степень высоты формы и допустимость тех или иных приемов оформления, — и это основное требование адекватности стиля имеет в виду оценочно-иерархическую адекватность формы и содержания: они должны быть равнодостоинны друг друга. Выбор содержания и выбор формы — это один и тот же акт, устанавливающий основную позицию творящего, — и в нем находит свое выражение одна и та же социальная оценка.

## VI

Исходить социологический анализ может, конечно, только из чисто словесного, лингвистического состава произведения, однако он не должен

и не может замыкаться в его пределах, как это делает лингвистическая поэтика. Ведь и художественное созерцание поэтического произведения при чтении исходит из графемы (т.е. зрительного образа написанного или напечатанного слова), но уже в следующий момент восприятия этот зрительный образ размыкается и почти погашается другими моментами слова — артикуляцией, звуковым образом, интонацией, значением, — а эти моменты, далее, выведут нас и вообще за пределы слова. И вот можно сказать, что чисто лингвистический момент произведения так относится к художественному целому, как графема относится к целому слову. И в поэзии слово — "сценарий" события, — компетентное художественное восприятие разыгрывает его, чутко угадывая в словах и в формах их организации живые специфические взаимоотношения автора с изображаемым им миром и входя в эти взаимоотношения третьим участником — слушателем. Там, где лингвистический анализ видит только слова и взаимоотношения между их абстрактными моментами (фонетическим, морфологическим, синтаксическим и др.), там для живого художественного восприятия и конкретного социологического анализа раскрываются отношения между людьми, лишь отраженные и закрепленные в словесном материале. Слово — это костяк, который обрастает живою плотью только в процессе творческого восприятия, следовательно, только в процессе живого социального общения.

В последующем мы попытаемся наметить в краткой и предварительной форме те три существенных момента во взаимоотношениях участников художественного события, которые определяет основные, грубые линии поэтического стиля как социального явления. Какая бы то ни было детализация этих моментов в пределах настоящей статьи, конечно, невозможна.

Автора, героя и слушателя мы все время берем не вне художественного события, а лишь поскольку они входят в самое восприятие художественного произведения, поскольку они являются необходимыми составными моментами его. Это — живые силы, определяющие форму и стиль и совершенно отчетливо ощущаемые компетентным созерцателем. Все же те определения, которые может дать автору и его героям историк литературы и общества, биография автора, более точная хронологическая и социологическая квалификация героев и пр. — здесь, конечно, исключаются: они не входят непосредственно в структуру произведения, остаются вне ее. Мы берем также только того слушателя, который учитывается самим автором, по отношению к которому ориентируется произведение и который поэтому внутренне определяет его структуру, — но отнюдь не ту действительную публику, которая фактически оказалась читательской массой данного писателя.

Первым определяющим форму моментом содержания является ценностный ранг изображенного события и его носителя — героя (назван он или не назван), взятый в строгой корреляции к рангу творящего и созерцающего. Здесь имеет место двустороннее отношение как и в правовой и политической жизни: господин — раб, владыка — подданный, товарищ — товарищ и т.п.

Основной тон стиля высказывания определяется, таким образом, прежде всего тем, о ком идет речь и в каком отношении он находится к говорящему: стоит ли он выше, ниже или наравне с ним на ступенях социальной иерархии. Царь, отец, раб, брат, товарищ — как герои высказывания — определяют и его формальную структуру. А этот удельный иерархический вес героя определяется в свою очередь тем невысказанным основным ценностным контекстом, в который вплетено и поэтическое высказывание. Подобно тому как "интонационная метафора" в нашем жизненном примере устанавливала живое отношение к предмету высказывания, так и все элементы стиля поэтического произведения проникнуты оценивающим отношением автора к содержанию и выражают его основную социальную позицию. Подчеркнем еще раз, что мы имеем в виду не те идеологические оценки, которые в форме суждений и выводов автора введены в самое содержание произведения, но ту более конкретную и более глубокую оценку-формой, которая находит свое выражение в самом способе видения и расположения художественного материала.

Некоторые языки, в особенности японский, обладают богатым и разнообразным арсеналом специальных лексических и грамматических форм, которые употребляются в строгой зависимости от ранга героя высказывания (этикет к языку)<sup>1</sup>.

Мы можем сказать: то, что для японца является еще вопросом грамматики, для нас является уже вопросом стиля. Существеннейшие компоненты стиля героического эпоса, трагедии, оды и др. определяются именно этим иерархическим положением предмета высказывания по отношению к говорящему.

Не нужно думать, что современная литература устранила это иерархическое взаимоотношение творца и героя: оно стало сложнее, оно не отражает в себе с такою же отчетливостью, как, например, в классицизме, современную ему социально-политическую иерархию, — но самый принцип изменения стиля, в зависимости от изменения социальной ценности героя высказывания остается, конечно, в прежней силе. Ведь поэт ненавидит не личного врага, любит и ласкает формой не личного друга, радуется или печалится не событиям своей частной жизни. Если бы даже поэт и заимствовал значительную долю своего пафоса из судеб своей частной жизни, он должен обобществить этот пафос и, следовательно, углубить соответствующее ему событие до степени социальной значительности.

Вторым, определяющим стиль моментом взаимоотношения героя и творца, является степень их близости друг к другу. Эта сторона во всех языках имеет и непосредственное грамматическое выражение: первое, второе и третье лицо и меняющаяся структура фразы в зависимости от того, кто является ее субъектом ("я", "ты" или "он"). Форма суждения о третьем лице, форма обращения ко второму лицу, форма высказывания о самом себе (и разновидность этих форм) — уже грамма-

---

<sup>1</sup> См. *W. Humboldt. Kavi — Werk.* — II. — 335, и в учебнике японского языка: *Hoffmann. Japan. Sprachlehre.* S. 75.

тически различны. Здесь, таким образом, самая структура языка отражает событие взаимоотношения говорящих.

В некоторых языках чисто грамматические формы способны еще более гибко передавать нюансы социального-взаимоотношения говорящих и различные степени их близости. С этой стороны интересны формы множественного числа в некоторых языках: так называемые "включительные" и "исключительные" формы (инклюзивные и эксклюзивные). Так, если говорящий, употребляя "мы", имеет в виду и слушающего, включает и его. в субъект суждения, он пользуется одной формой; если же он имеет в виду себя и другого ("мы" в смысле "я" и "он"), то он употребляет уже другую форму. Таково употребление двойственного числа в некоторых австралийских языках. Так же две особые формы существуют для тройственного числа: одна форма значит: "я, ты, он", другая форма — "я, оя, ан" X^вы".^^ слушающий >--г-исключен<sup>1</sup>.

В европейских языках эти и подобные им взаимоотношения между говорящими не находят себе особого грамматического выражения. Характер этих языков более абстрактен и не в такой степени способен отражать ситуацию высказывания самой своей грамматической структурой. Но зато эти взаимоотношения находят свое выражение — притом несравненно более тонкое и дифференцированное — в стиле и в интонации высказывания: путем чисто художественных приемов социальная ситуация творчества находит свое всестороннее отражение в произведении.

Форма поэтического произведения, таким образом, во многих моментах определяется тем, как ощущает автор своего героя, являющегося организующим центром высказывания. Форма объективного повествования, форма обращения (молитва, гимн, некоторые лирические формы), форма самовысказывания (исповедь, автобиография, форма лирического признания — важнейшая форма любовной лирики) — определяются именно степенью близости автора и героя.

Оба указанных нами момента — иерархическая ценность героя и степень его близости к автору, взятые самостоятельно, изолированно, еще недостаточны для определения художественной формы. Дело в том, что в игру все время вмешивается третий участник — слушатель, который меняет и взаимоотношения двух других (творца и героя).

Ведь взаимоотношения автора и героя никогда не бывает действительно интимным взаимоотношением двоих: форма все время учитывает третьего — слушателя, — который и оказывает существеннейшее влияние на все моменты произведения.

В каком направлении может определять слушатель стиль поэтического высказывания? И здесь мы должны различать два основных момента: во-первых, близость слушателя к автору и во-вторых, отношение его к герою. Нет ничего пагубнее для эстетики, как игнорирование самостоятельной роли слушателя. Существует мнение, очень распространенное, что слушателя должно рассматривать как равного автору за вычетом

<sup>1</sup> См. *Malleus*. Aboriginal languages of Victoria. Также — *W.Humboldt*. Op. cit.

техники, что позиция компетентного слушателя должна быть простым воспроизведением позиции автора. На самом деле это не так. Скорее можно выставить обратное положение: слушатель никогда не равен автору. У него свое, незаместимое место в событии художественного творчества; он должен занимать особую, притом двустороннюю позицию в нем: по отношению к автору и по отношению к герою, — и эта позиция определяет стиль высказывания.

Как чувствует своего слушателя автор? На примере жизненного высказывания мы видели, в какой степени предполагаемое согласие или несогласие слушателя определяло интонацию. То же самое справедливо и относительно всех моментов формы. Говоря образно, слушатель нормально находится рядом с автором как его союзник; но этот классический случай постановки слушателя далеко не всегда имеет место.

Иногда слушатель начинает сближаться с героем высказывания. Наиболее яркое и типичное выражение этого — полемический стиль, ставящий на одну доску героя и слушателя. Сатира тоже может захватывать слушателя, учитывать его как близкого к осмеиваемому герою, а не к осмеиваемому автору: это как бы инклюзивная, включительная, форма осмеяния, резко отличная от эксклюзивной, где слушатель солидарен со смеющимся автором. Интересное явление можно наблюдать в романтизме, где часто автор как бы заключает союз с героем против слушателя (Фр. Шлегель — "Люцинда"; в русской литературе отчасти "Герой нашего времени").

Очень своеобразно и интересно для анализа ощущение автором слушателя в формах исповеди и автобиографии. Все переходы чувства — от смиренного пиетета перед слушающим, как перед признанным судьей, до презрительного недоверия и вражды к нему — могут определять стиль исповеди и автобиографии. Чрезвычайно любопытный материал для иллюстрации этого положения можно найти в творчестве Достоевского. Исповедальный стиль "Записки" Ипполита в "Идиоте" определяется почти крайней степенью презрительного недоверия и вражды ко всем тем, кто будет слушать эту предсмертную исповедь. Те же тона, но несколько смягченные, определяют стиль "Записок из подполья". Гораздо больше доверия и признания прав слушателя обнаруживает стиль "Исповеди Ставрогина", хотя и здесь временами прорывается почти ненависть к нему, что и создает резкие изломы стиля. Юродство как особая форма высказывания, правда, лежащая уже на границе художественного, определяется прежде всего чрезвычайно сложным и запутанным конфликтом говорящего со слушателем.

Особенно чуткой к постановке слушателя является форма лирики. Основным условием лирической интонации является непоколебимая уверенность в сочувствии слушающих. Как только сомнение проникает в лирическую ситуацию, стиль лирики резко меняется. Наиболее яркое выражение находит этот конфликт со слушателем в так называемой "лирической иронии" (Гейне, в новой поэзии — Лафорг, Анненский и другие). Форма иронии вообще обусловлена социальным конфликтом: это встреча в одном голосе двух воплощенных оценок и их интерференция, перебой.

В современной эстетике была предложена особая, так называемая "юридическая" теория трагедии, сущность которой сводится к попытке понять структуру трагедии как структуру судебного процесса<sup>1</sup>.

Взаимоотношение героя с хором, с одной стороны, и общая позиция слушателя — с другой, — действительно поддаются до известной степени юридическому истолкованию. Но, конечно, дело может идти только об аналогии. Существенная общность трагедии — да и всякого художественного произведения с юридическим процессом сводится только к наличности "сторон", т.е. нескольких участников, занимающих разные позиции. Столь распространенные в поэтической фразеологии определения поэта как: "судьи", "разоблачителя", "свидетеля", "защитника" или даже "палача" (фразеология "бичующей сатиры" — Ювенал, Барбье, Некрасов и др), и соответствующие же определения героя и слушателя — в форме аналогии вскрывают ту же социальную основу поэзии. Во всяком случае, автор, герой и слушатель нигде не сливаются в какое-то индифферентное единство, а занимают самостоятельные позиции; они действительно являются "сторонами", но не судебного процесса, а художественного события со специфической социальной структурой, "протоколом" которого и является художественное произведение.

Здесь не лишне еще раз подчеркнуть, что мы все время имеем в виду слушателя — как имманентного участника художественного события, изнутри определяющего форму произведения. Этот слушатель является наряду с автором и героем необходимым внутренним моментом произведения и отнюдь не совпадает с так называемой "публикой", находящейся вне произведения, художественные требования и вкусы которой можно сознательно учитывать. Такой сознательный учет не способен непосредственно и глубоко определить художественную форму в процессе ее живого создания. Более того, если этот сознательный учет публики займет сколько-нибудь серьезное место в творчестве поэта, — оно неизбежно утратит свою художественную чистоту и деградирует в низший социальный план.

Этот внешний учет говорит о том, что поэт утратил своего имманентного слушателя, оторвался от того социального целого, которое изнутри, помимо всяких отвлеченных соображений, способно определить его оценки и художественную форму его поэтических высказываний, которая ведь и является выражением этих существенных социальных оценок. Чем более поэт оторван от социального единства своей группы, тем более он будет склонен учитывать внешние требования определенной публики. Только чуждая поэту социальная группа может извне определить его творчество. Своя группа в таком внешнем определении не нуждается: она — в самом голосе поэта, в основном его тоне, в интонациях, — хочет этого сам поэт или не хочет. Поэт получает слова и научается их интонировать на протяжении всей жизни в процессе всестороннего общения со своею средой. Этими словами и

<sup>1</sup> Наиболее интересное развитие этой точки зрения у *Hermann Cohen*. *Ästhetik des reinen Gefühls*. - В. II.

интонациями поэт начинает пользоваться уже во внутренней речи, с помощью которой он думает и осознает себя даже тогда, когда он не высказывается. Полагать, что можно усвоить себе внешнюю речь, идущую вразрез с собственной внутренней речью, со всей внутренне словесной манерой осознавать себя и мир, — наивно. Если ее и можно создать на какой-нибудь жизненный случай, то, отрезанная от всех питающих ее источников, она будет лишена всякой художественной продуктивности. Стиль поэта рождается из не поддающегося контролю стиля его внутренней речи, а эта последняя является продуктом всей его социальной жизни. "Стиль — это человек", но мы можем сказать: стиль — это по крайней мере два человека, точнее, — человек и его социальная группа в лице ее авторитетного представителя — слушателя — постоянного участника внутренней и внешней речи человека.

Дело в том, что всякий сколько-нибудь отчетливый акт сознания не обходится без внутренней речи, без слов и без интонации — оценок и, следовательно, уже является социальным актом, актом общения. Даже наиболее интимное самосознание есть уже попытка перевести себя на общий язык, учесть точку зрения другого и, следовательно, включает в себя установку на возможного слушателя. Этот слушатель может быть только носителем оценок той социальной группы, к которой принадлежит сознающий. В этом отношении сознание, поскольку мы не отвлекаемся от его содержания, уже не есть только психологическое, но прежде всего идеологическое явление, продукт социального общения. Этот постоянный соучастник всех актов нашего сознания определяет не только его содержание, но — что является для нас главным — и самый выбор содержания, выбор того, что именно осознается нами, и, следовательно, определяет и те оценки, которые проникают собою сознание и которые психология называет обычно "эмоциональным тоном" сознания. Слушатель, определяющий художественную форму, и рождается из этого постоянного участника всех актов нашего сознания.

Нет ничего пагубнее, чем эту тонкую социальную структуру словесного творчества представлять себе по аналогии с сознательными и циничными спекуляциями буржуазного издателя, "учитывающего конъюнктуру книжного рынка", и применять при характеристике имманентной структуры произведения категории вроде "спроса и предложения". Увы, многие "социологи" склонны отождествлять социальное служение поэта с деятельностью бойкого издателя.

В условиях буржуазной экономики книжный рынок, конечно, "регулирует" поэтов, но это ни в коем случае нельзя отождествлять с регулирующей ролью слушателя как постоянного структурного элемента художественного творчества. Для историка литературы капиталистической эпохи рынок является очень важным моментом, но для теоретической поэтики, изучающей основную идеологическую структуру искусства этот внешний фактор не нужен. Но и в истории литературы нельзя все же смешивать историю книжного рынка и издательского дела с историей поэзии.

## VII

Все разобранные нами моменты, определяющие форму художественного высказывания: 1) иерархическая ценность героя или события, являющегося содержанием высказывания; 2) степень близости его к автору; 3) слушатель и его взаимоотношение с автором, с одной стороны, и с героем — с другой, — все эти моменты и являются точками приложения социальных сил внехудожественной действительности к поэзии. Благодаря именно такой внутренне социальной структуре своей художественное творчество со всех сторон открыто социальным влияниям других областей жизни. Другие идеологические сферы, в особенности социально-политический строй, и, наконец, экономика определяют поэзию не извне только, а опираясь на эти внутренние структурные элементы ее. И обратно: художественное взаимодействие творца, слушателя и героя может оказывать свое влияние на другие области социального общения. Полное и всестороннее выяснение вопросов о том, кто будут типичными героями литературы в определенной эпоху, какова будет типичная формальная установка автора по отношению к ним, каковы будут взаимоотношения и героев и автора со слушателем в целом художественного творчества, — предполагает всесторонний анализ экономических и идеологических условий эпохи.

Но эти конкретно-исторические вопросы выходят за пределы теоретической поэтики, у которой остается еще другая важная задача. До сих пор мы касались только тех моментов, которые определяли форму в ее отношении к содержанию, т.е. как воплощенную социальную оценку именно этого содержания, и мы убедились, что каждый момент формы является продуктом социального взаимодействия. Но мы указывали, что форма должна быть понята и с другой стороны — как форма, реализованная с помощью определенного материала. Это открывает длинный ряд вопросов, связанных с техникой формы.

Конечно, эти вопросы техники могут быть только абстрактно обособлены от вопросов социологии формы: невозможно реально отделить художественный смысл какого-нибудь приема, например, метафоры, относящейся к содержанию и выражающей формальную оценку его (метафора низводит предмет или возводит его в высший ранг) от чисто лингвистического определения этого приема.

Внесловесный смысл метафоры — перегруппировка ценностей и ее лингвистическая оболочка — семантический сдвиг — являются лишь разными точками зрения на одно и то же реальное явление. Но вторая точка зрения подчинена первой: чтобы перегруппировать ценности, поэт употребляет метафору, а не ради лингвистического упражнения.

Все вопросы формы могут быть взяты по отношению к материалу, в данном случае — по отношению к лингвистически понятому языку; технический анализ сведется, таким образом, к вопросу о том, какими лингвистическими средствами осуществляется социально-художественное задание формы. Но, не зная этого задания, не выяснив предварительно его смысла, технический анализ — нелеп.

Вопросы техники формы, конечно, уже выходят за пределы поставленной нами задачи. Кроме того, их разработка предполагает несравненно более дифференцированный и углубленный анализ социально-художественной стороны поэзии: здесь же мы могли только бегло наметить основные направления такого анализа.

Если нам удалось показать хотя бы только возможность социологического подхода к имманентно-художественной структуре поэтической формы, то мы сочли бы нашу задачу выполненной.

**В, Н, Волошинов**

**ФРЕЙДИЗМ**

**КРИТИЧЕСКИЙ  
ОЧЕРК**

---

ФРЕЙДИЗМ и  
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ФИЛОСОФСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ (КРИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ)

---

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ОСНОВНОЙ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ ФРЕЙДИЗМА

1. ФРЕЙДИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ ФРЕЙДИЗМА.
3. РОДСТВЕННЫЕ МОТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ.
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФРЕЙДИЗМА.

1 ФРЕЙДИЗМ И  
СОВРЕМЕННОСТЬ

**В** 1893 г. два венских врача — ФРЕЙД и БРЕЙЕР — выступили на страницах специального психиатрического журнала с небольшой статьёй<sup>1</sup>, названной ими «О психическом механизме истерических явлений» (предварительное сообщение) и посвященной новому методу лечения истерии с применением гипноза. Это «предварительное сообщение» и было тем зерном, из которого развился «психоанализ» — одно из наиболее популярных идеологических течений современной Европы.

Появившись на свет в качестве скромного психиатрического метода<sup>2</sup> со слабо развитой теоретической основой, психоанализ уже в течение первого десятилетия своего существования выработал собственную общепсихологическую теорию, по-новому освещающую все стороны душевной жизни человека. Затем началась работа по применению этой психологической теории к объяснению различных областей культурного творчества — искусства, религии и, наконец, явлений социальной и политической жизни. Таким образом, психоанализ разработал собственную философию культуры. Эти общепсихологические и философские построения психоанализа мало-помалу заслонили собой первоначальное, чисто психиатрическое ядро учения<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Эта статья сошла в книгу: Dr. Breuer und Dr. Freud, «Studien über Hysterie». I. Auflage, 1895 (четвертое издание в 1922 г.).

<sup>2</sup> Предложенный Фрейдом и Брейером метод лечения истерии должен был служить только дополнением других практиковавшихся в медицине методов.

<sup>3</sup> С нашим утверждением согласятся не все психоаналитики, но тем не менее оно верно. Две последних книги Фрейда: «Jenseits des Lustprinzips» 1920 г. и «Das Ich und das Es»

Успех психоанализа в широких кругах, европейской интеллигенции начался еще до войны, а в послевоенное время, особенно в самые последние годы, влияние его достигло необычайных размеров, во всех странах Европы и в Америке. По широте этого влияния в буржуазных и интеллигентских кругах психоанализ оставил далеко позади себя все современные ему идеологические течения; конкурировать с ним в этом отношении может разве только одна антропософия (штейнерианство). Даже такие модные течения интернационального масштаба, какими были в свое время бергсонизм и ницшеизм, никогда, даже в эпохи наибольшего своего успеха, не располагали таким громадным числом сторонников и «заинтересованных», как фрейдизм.

Сравнительно медленный, а в начале (до десятых годов нашего века) и очень трудный путь, приведший психоанализ к «завоеванию Европы», говорит о том, что это не скоропреходящая и поверхностная «мода дня», вроде шпенглеризма, а более устойчивое и глубокое выражение каких-то существенных сторон европейской буржуазной действительности. Поэтому всякий, желающий глубже понять духовное лицо современной Европы, не может пройти мимо психоанализа: он стал слишком характерной, неизгладимой чертой современности<sup>4</sup>.

Чем же объясняется такой успех психоанализа? Что привлекает к нему европейского буржуа?

Конечно, не специально научная, психиатрическая сторона этого учения. Было бы наивно думать, что все эти массы горячих поклонников психоанализа пришли к нему, интересуясь специальными вопросами психиатрии и следя за специальными органами этой науки. Не на этом пути они встретились с фрейдизмом. В подавляющем большинстве случаев Фрейд был первым и последним психиатром, которого они прочли, а «*Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse*» — первым и единственным специальным психиатрическим журналом, который они раскрыли. Было бы наивно думать, что Фрейду удалось завоевать внимание широких кругов к специальным вопросам психиатрии. Конечно, и не практический интерес к успехам терапевтического метода привлекает к психоанализу. Нелепо было бы предположить, что все эти массы поклонников Фрейда —

---

1923 г. — носят чисто философский характер. На последнем всемирном съезде психоаналитиков в 1922 г. многими участниками съезда были высказаны опасения, что спекулятивная (умозрительная) сторона психоанализа совершенно заслонила его первоначальное терапевтическое назначение. Об этом см. Dr. S. Ferenczi und Dr. O. Rank, «*Entwicklungsziele der Psychoanalyse*», 1924.

<sup>4</sup> О широте движения фрейдизма можно судить по тому, что в настоящее время существует целая интернациональная организация фрейдистов. В 1924 г. состоялся восьмой конгресс фрейдистов, на котором присутствовали представители местных групп, — из Вены, Будапешта, Берлина, Голландии, Цюриха, Лондона, Нью-Йорка, Калькутты и Москвы. Существует ряд периодических изданий по психоанализу и специальное «Интернациональное психоаналитическое издательство в Будапеште». В 1920 г. в Берлине открыта первая психоаналитическая клиника для неимущих нервноболезных, — *Прим. ред.*

жаждущие исцеления пациенты психиатрических клиник. Несомненно, что Фрейд сумел задеть за живое современного буржуа не специально научной и не узко практической стороной своего учения.

Во всяком идеологическом течении, которое не остается достоянием узкого круга специалистов, а захватывает широкие и разнообразные читательские массы, не могущие, конечно, разобраться в специальных деталях и нюансах учения, — всегда может быть выделен один основной мотив, идеологическая доминанта всего построения, определяющая его успех и влияние. Этот основной мотив, убедительный и многоговорящий сам по себе, относительно независим от сложного аппарата своего научного обоснования, недоступного широкой публике. Поэтому его можно выделить в простой и грубой форме, не боясь быть несправедливым.

В настоящей вступительной главе мы, несколько предвосхищая наше дальнейшее изложение, ставим своей задачей выделить этот основной идеологический мотив фрейдизма и дать ему предварительную оценку.

При этом мы руководствуемся следующими соображениями.

Прежде чем вводить читателя в довольно сложный и временами увлекательный лабиринт психоаналитического учения, необходимо с самого начала дать ему твердую критическую ориентацию. Мы должны прежде всего показать нашему читателю, в каком философском контексте, т.е. в ряду каких других философских течений, владевших или еще владеющих умами европейской интеллигенции, он должен воспринимать психоанализ, чтобы получить верное представление об идеологической сущности и ценности этого учения. Потому-то и необходимо выделить его основной идеологический мотив. Мы увидим, что этот мотив вовсе не является чем-то абсолютно новым и неожиданным, а вполне укладывается в основное русло всех идеологических устремлений буржуазной философии первой четверти XX века, являясь, быть может, наиболее ярким и смелым их выражением.

В следующей — второй — главе мы, не торопясь с изложением самого учения Фрейда, постараемся дать читателю такую же критическую ориентацию для восприятия чисто психологической стороны этого учения, ознакомив его с борьбой различных направлений в современной психологии. Этим мы определим тот контекст, в котором должно воспринимать и оценивать специально психологические утверждения фрейдизма.

Критически вооружив читателя и подготовив историческую перспективу для восприятия нового явления, мы с третьей главы перейдем к систематическому изложению психоанализа, уже не перебивая этого изложения критическими замечаниями. Вторая часть нашей книги снова вернется к критическим темам, намеченным в первых двух главах.

## 2. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ ФРЕЙДИЗМА

Каков же основной идеологический мотив фрейдизма?

*Судьба человека — все содержание его жизни и творчества — следовательно: содержание его искусства, если*

он художник, его научных теорий, если он ученый, его политических программ и действий, если он политик — всецело определяется судьбами его полового влечения, и только ими одними. Все остальное — лишь обертоны основной, могущественной мелодии сексуальных влечений<sup>5</sup>.

Если же сознание человека говорит ему другое о мотивах и движущих силах его жизни и творчества, то оно лжет. Развитию основной темы все время сопутствует у Фрейда критика сознания.

Таким образом, существенно в человеке совсем не то, чем определяется его место и роль в истории — тот класс, та нация, та историческая эпоха, к которой он принадлежит, — существенны только его пол и его возраст; все остальное — лишь надстройка над этим. Сознание человека определяется не его историческим бытием, а — биологическим, главной стороной которого является сексуальность.

Таков основной идеологический мотив фрейдизма.

В своей общей форме он и не нов и не оригинален. Но оригинальной и новой является разработка его составных частей — понятий пола и возраста: здесь Фрейду действительно удалось обнаружить громадное богатство и разнообразие новых моментов и оттенков, до него научно совершен но не обследованных, вследствие чудовищного лицемерия официальной науки во всех вопросах, касающихся половой жизни человека. Фрейд настолько расширил и обогатил понятие сексуальности, что те обычные житейские представления, которые мы привыкли связывать с этим понятием, оказываются лишь маленьким уголком его необъятной территории. Это нужно помнить при оценке психоанализа: бросая ему, например, обычный упрек в «пансексуализме», не следует упускать из виду этого нового, чрезвычайно расширенного, смысла слова «сексуальный» у Фрейда.

Далее, много неожиданного обнаружил психоанализ и в вопросе о связи между сексуальностью и возрастом. История сексуального влечения человека начинается с момента его рождения, проходит через длинный ряд своеобразно окрашенных периодов развития и совсем не укладывается в наивную схему: невинный младенец — созревший юноша — невинный старец. Загадка возрастов человека, заданная сфинксом Эдипу, нашла у Фрейда неожиданное и своеобразное разрешение. Насколько оно основательно — вопрос другой, мы им займемся позже. Здесь нам важно лишь отметить, что обе составные части основного идеологического мотива фрейдизма — пол и возраст

---

<sup>5</sup> Автор подчеркивает только 'основной мотив фрейдизма. Из дальнейшего изложения (гл. III) читатель убедится, что учение о наличии бессознательных душевных процессов, о «сопротивлении и выяснении» являются такими же неотъемлемыми элементами фрейдизма (см. ст. Фрейда в Handwörterb. der Sexualwissenschaften 1926, стр. 614). — Прим. ред.

— обновлены и обогащены новым содержанием. Поэтому старый сам по себе мотив зазвучал по-новому.

Мотив стар. Он постоянно повторяется во все те эпохи развития человечества, в которые происходит смена творящих историю социальных групп и классов. Это — лейтмотив кризисов и упадка.

Когда тот или иной социальный класс находится в стадии разложения и принужден покинуть арену истории, его идеология начинает навязчиво повторять и на все лады варьировать тему: человек есть прежде всего животное, — и старается с точки зрения этого «откровения» переоценить все ценности мира и истории по-новому. Вторая часть знаменитой аристотелевской формулы («человек — животное социальное») при этом совершенно игнорируется.

Идеология таких эпох переносит центр тяжести в изолированный биологический организм, а три основных события его общеживотной жизни — рождение, coitus, смерть — начинают по своему идеологическому значению конкурировать с историческими событиями, становятся как бы суррогатом истории.

Не-социальное, не-историческое в человеке абстрактно выделяется и объявляется высшим мериллом и критерием всего социального и исторического. Кажется, словно люди этих эпох хотят уйти из ставшей для них неуютной и холодной атмосферы истории и укрыться в органическую теплоту животной стороны жизни.

Так было в эпоху упадка греческих государств, упадка Римской империи, в эпоху разложения феодально-дворянского строя перед Великой французской революцией.

Мотив всеислия и мудрости природы (и прежде всего природы в человеке — его биологических влечений) и бессилия праздной и ненужной суеты истории — одинаково звучит нам, пусть и с различными нюансами и в разных эмоциональных тонах, в таких явлениях, как эпикурейство, стоицизм, литература римского упадка (например, «Сатирикон» Петрония), скептическая мудрость французских аристократов конца XVII — XVIII века. Боязнь истории, переоценка благ частной, личной жизни, примат в человеке биологического и сексуального — таковы общие черты всех этих идеологических явлений.

И вот, с самого конца XIX века в европейской идеологии снова отчетливо зазвучали родственные мотивы. Абстрактный биологический организм опять стал главным героем буржуазной философии XX века.

Философия «чистого познания» (КАНТ), творческого «я» (ФИХТЕ), «идеи и абсолютного духа» (ГЕГЕЛЬ) — эта достаточно энергичная и по-своему трезвая философия героической эпохи буржуазии (конец XVIII, первая половина XIX века) — была еще полна исторического и буржуазно-организаторского пафоса. Во второй по-

ловине века она все больше и больше мельчала и застывала в мертвенных и неподвижных схемах школьной философии эпигонов (неокантианцев, неогегельянцев, неохитчанцев) и, наконец, в наше время сменяется пассивной и дряблой философией жизни, биологистическими и психологистическими окрашенно, спрягающей на все лады и со всеми возможными префиксами и суффиксами глаголы «жить», «переживать», «изживать», «вживаться» и т.п.<sup>6</sup>

Биологические термины различных органических процессов буквально наводнили мировоззрение: ко всему старались подыскать биологическую метафору, приятно оживляющую предмет, застывший в холоде кантианского чистого познания.

Каковы основные черты этой современной нам философии?

Всех, столь разнородных и во многих отношениях несогласных между собой мыслителей современности, какими являются: БЕРГСОН, ЗИММЕЛЬ, ГОМПЕРЦ, ПРАГМАТИСТЫ, ШЕЛЕР, ДРИШ, ШПЕНГЛЕР, - в основном все же объединяют три мотива:

•1) *в центре философского построения находится биологически понятая жизнь*. Изолированное органическое единство объявляется высшей ценностью и критерием философии;

2) *недоверие к сознанию*. Попытка свести к минимуму его роль в культурном творчестве. Отсюда критика кантианства как философии сознания;

•3) *попытка заменить все объективные социально-экономические категории субъективно-психологическими или биологическими*. Стремление понять историю и культуру непосредственно из природы, минуя экономику.

Так, БЕРГСОН, до сих пор остающийся одним из наиболее популярных европейских философов, в центре всего философского построения ставит понятие единого жизненного порыва (*élan vital*), пытаясь вывести из него все формы культурного творчества. Высшие формы познания (именно философское интуитивное познание) и художественное творчество родственны инстинкту, наиболее полно выражающему единство жизненного потока. К интеллекту, создающему положительные науки, Бергсон относится с пренебрежением, но и его формы он выводит непосредственно из биологической структуры организма<sup>7</sup>.

Недавно скончавшийся ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ — кантианец в своих первых работах — в XX веке стал одним из наиболее ярких выразителей модных биологистических тенденций. Замкнутое органическое единство индивидуальной жизни является для него высшим критерием всех культурных ценностей. Только то, что может приоб-

<sup>6</sup> См. Г. Риккерт. «Философия жизни» (Academia, 1922 г.). В книге довольно много осведомительного материала, но точка зрения автора — идеалиста-неокантианца — неприемлема.

<sup>7</sup> Важнейший философский труд Бергсона — «Творческая эволюция», русский перевод. М., 1909.

читься к этому самодовлеющему единству, получает смысл и значение. В одной из своих основных работ — «Индивидуальный закон» — Зиммель старается понять этический закон как закон индивидуального развития личности. Полемизируя с Кантом, который требовал для этического закона формы всеобщности (категорический императив), Зиммель и развивает свое понятие индивидуального этического закона, который должен регулировать не отношения людей в обществе, а отношение сил и влечений внутри замкнутого и самодовлеющего организма<sup>8</sup>.

Еще более грубые формы биологистический уклон в философии принимает у прагматистов, сторонников недавно умершего американского психолога ДЖЕМСА, отца прагматического направления, — пытающихся свести все виды культурного творчества к биологическим процессам приспособления, целесообразности и пр.<sup>9</sup>

Своеобразную близость к фрейдизму обнаруживает незаконченная философская система компатриота Фрейда — венского философа ГЕНРИХА ГОМПЕРЦА — «панэмпиризм». Гомперц пытается все категории мышления — причинности, предмета и др. — свести к чувствам, к эмоциональным реакциям человеческого организма на мир, не без влияния венского сексуолога ОТТО ВЕЙНИНГЕРА<sup>10</sup>.

Те же мотивы, но в более осложненной форме, мы найдем и у самого влиятельного немецкого философа наших дней, — главного представителя феноменологического направления, МАКСА ШЕЛЕРА. Борьба с психологизмом, борьба с примитивным биологизмом, проповедь объективизма связывается у Шелера с глубоким недоверием к сознанию и его формам, с предпочтением интуитивных способов познания. Все положительные эмпирические науки Шелер, примыкая в этом к Бергсону, выводит из форм приспособления биологического организма к миру<sup>11</sup>.

Стремление подчинить философию задачам и методам частной науки — биологии — наиболее последовательно выражено в философских работах ГАНСА ДРИША, известного биолога-неовиталиста, одного из основателей экспериментальной морфологии, ныне занявшего кафедру философии. Основное понятие его системы — «энтелехия» (термин

<sup>8</sup> См. Зиммель, «Индивидуальный закон» («Логос» 1914 г.). Эта работа в качестве одной главы вошла в последнюю книгу Зиммеля «Lebensanschauung» (1919 г.). О Зиммеле: небольшая статейка с марксистским подходом проф. Святловского, приложенная к книжке Зиммеля, «Конфликты современной культуры» (Пг. «Начатки Знаний», 1923 г.).

<sup>9</sup> См. философскую книгу Джемса, «Прагматизм» (русск. пер. изд. «Шиповник»), являющуюся основным трудом этого направления.

<sup>10</sup> Основной труд Гомперца: «Anschauungslehre». Есть русский перевод: «Учение о мировоззрении» изд. «Шиповник». О влиянии на него Вейнингера см. «Учение о мировоззрении», стр. 172-175.

<sup>11</sup> Из трудов М. Шелера назовем: «Phénoménologie und Theorie der Sympathiegefühle», Halle 1913 г.; «Vom Ewigen im Menschen» 1920 г. Русских работ о Шелере нет, за исключением статьи Баммеля: «Макс Шелер, католицизм и рабочее движение» («Под знам. марке.», 7-8, 1926). Шелеру мы посвящаем особую главу в подготовляемой нами к печати книге «Философская мысль современного Запада». В первой из названных книг Шелер уделяет ряд страниц анализу и оценке фрейдизма.

Аристотеля, в дословном переводе с греческого значит: «имеющее в себе цель»). Энтелехия — это как бы квинтэссенция органического единства и целесообразности. Она руководит всеми проявлениями организма, как его низшими биологическими функциями, так и его высшей культурной деятельностью<sup>12</sup>.

Наконец, упомянем еще о нашедшей, но уже почти забытой попытке Шпенглера применить биологические категории к пониманию исторического процесса<sup>13</sup>.

Мы видим, таким образом\* что основной идеологический мотив фрейдизма отнюдь не одинок. Он звучит в унисон со всеми основными мотивами современной буржуазной философии. *Своеобразный страх перед историей, стремление найти мир по ту сторону всего исторического и социального, поиски этого мира именно в глубинах органического — проникают собою все построения современной философии, являясь симптомом разложения и упадка буржуазного мира.*

«Сексуальное» Фрейда является крайним полюсом модного биологизма, собирая и Чзгущая в одном сжатом и пряном образе все отдельные моменты современного антиисторизма.

#### 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

##### ФРЕЙДИЗМ

Как же мы должны отнестись к основной теме современной философии? Основная ли попытка непосредственного

выведения всего культурного творчества из биологических корней человеческого организма?

Отвлеченной биологической личности, того биологического индивидуума, который стал альфой и омегой современной идеологии, вообще не существует. Человека вне общества и, следовательно, вне объективных социально-экономических условий, не бывает. Это — дурная абстракция. Только как часть социального целого, в классе и через класс, становится человеческая личность исторически реальной и культурно продуктивной. Чтобы войти в историю, мало родиться физически — так рождается животное, но оно в историю не входит. Нужно как бы второе, социальное, рождение. Человек рождается не как абстрактный биологический организм, а как помещик или крестьянин, как буржуа или пролетарий, — это главное. Далее, он рождается или как русский, или как француз, и, наконец, рождается в 1800 или в 1900 г. Только эта социальная и историческая локализация человека делает

<sup>12</sup> Основной труд Дриша: «Philosophie des Organischen». В. I-II. 1909 г. Есть новое значительно измененное однотомное издание 1921 г., «Ordnungslehre» (1926) и «Wirklichkeitslehre» (1924). На русском языке имеется книга Дриша «Витализм, его история и система» (М., 1915 г.). Из русских работ о нем см. И. И. Канаев, «Современный витализм», журн. «Человек и Природа». №1-2. 1926. (Ленотгиз).

<sup>13</sup> Его книга «Untergang des Abendlandes», В. Мl. В русском переводе имеется первая часть первого тома: «Причинность и судьба» (Academia, 1924 г.). Марксистская критика Шпенглера: Деборин, «Философия и марксизм» (сб. статей), статья «Гибель Европы, или торжество империализма» (ГИЗ, 1926 г.).

его реальным и определяет содержание его жизненного и культурного творчества. Все попытки миновать это второе, социальное, рождение и все вывести из биологических предпосылок существования организма — безнадежны и заранее обречены на неудачу: ни один поступок цельного человека, ни одно конкретное идеологическое образование (мысль, художественный образ, даже содержание сновидения) не могут быть объяснены и поняты без привлечения социально-экономических условий. Более того, даже специальные вопросы биологии не найдут исчерпывающего разрешения без полного учета социального места изучаемого человеческого организма. Ведь «сущность человека — это вовсе не абстракт, свойственный отдельному лицу. В своей действительности это есть совокупность всех общественных отношений...»<sup>14</sup>

## ГЛАВА ВТОРАЯ,

### ДВА НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 3. ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 4. СЛОВЕСНАЯ РЕАКЦИЯ. 5. МАРКСИЗМ И ПСИХОЛОГИЯ. 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ФРЕЙДИЗМА. 7. НАУКА И КЛАСС.

#### I. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

**М**ы ознакомились с основным мотивом психоанализа и установили его кровное родство с другими идеологическими течениями европейской современности. Этот мотив проникает снизу доверху все построения психоаналитиков. Свое наиболее ясное, идеологически обнаженное выражение он находит, конечно, и в своеобразной философии культуры. Но и в психологическом учении за специальным частно-научным аппаратом построения мы можем вскрыть все тот же основной мотив как определяющее начало всех представлений фрейдистов о душевной жизни человека и господствующих в ней силах.

Тем не менее, существует довольно распространенное мнение<sup>15</sup>, что при порочности и неприемлемости основного идеологического мотива в психоанализе существует здоровое и ценное научное зерно: это именно его психологическая теория. Защитники этого мнения полагают, что специально-психологическое учение Фрейда вполне совместимо с иным философским мировоззрением, и что оно как раз наиболее отвечает тем требованиям, которые предъявляет марксизм к научной психологии.

<sup>14</sup> К. Маркс. Из шестого тезиса о Фейербахе. См. Фр. Энгельс. «Дюдвиг Фейербах»; перевод Г.В.Плеханова. Изд. «Красная Новь». М., 1923, стр. 89.

<sup>15</sup> Точка зрения Быковского, Залкинд\*, Фридмана, Лурья и др. Критический анализ марксистских апологий фрейдизма будет дан в заключительной главе.

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы и считаем необходимым до изложения психоанализа ввести читателя в круг основных направлений современной психологии, а также и тех требований, которые марксистская точка зрения может предъявить к методологическим основам этой науки.

В настоящее время в Западной Европе и у нас в СССР происходит оживленная борьба двух направлений в изучении психической жизни человека и животных, — борьба объективной и субъективной психологии.

Каждое из этих направлений, в свою очередь, распадается на ряд отдельных течений. В последующем мы только назовем важнейшие из них, но касаться их различий и особенностей не будем. Нам важно лишь самое основное различие между точками зрения субъективистов и объективистов.

Наиболее серьезной современной разновидностью субъективной психологии является экспериментальная психология (школа Вундта, Джемса и др.; ее крупнейший представитель у нас — проф. Челпанов), а разновидностями объективной психологии — рефлексология (школа Павлова<sup>16</sup>, Бехтерев<sup>17</sup> и др.) и так называемая «наука о поведении» (бихевиоризм), пользующаяся особым развитием в Америке (Ватсон<sup>1</sup>, Пармели<sup>19</sup>, Дьюи и др.). В СССР в родственном с бихевиоризмом направлении работают Блонекий и Корнилов (реактология)<sup>20</sup>.

В чем же существо разногласий между субъективной и объективной психологией?

Психическая жизнь дана человеку двояко:

1) в себе самом человек непосредственно, во внутреннем опыте наблюдает течение различных душевных переживаний — представлений, чувств, желаний;

2) у других людей и у животных человек может наблюдать только внешние выражения психической жизни в различных реакциях чужого организма на раздражения. Во внешнем опыте нет, конечно, ни желаний, ни чувств, ни стремлений — ведь их нельзя ни увидеть, ни услышать, ни нащупать — а есть только определенные материальные процессы, происходящие в реагирующем (т.е. отвечающем на раздражения) организме. Этот внеш-

<sup>16</sup> Ак. И. П. Павлов. «25-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных», изд. 1926 г. «Лекции о работе больших полушарий головного мозга». Изд. 1927 г.

<sup>17</sup> В. М. Бехтерев. «Общие основы рефлексологии человека». (Пг., 1923 г.), 3-е изд. 1926 г.

<sup>18</sup> Watson J. B. «Psychology from the standpoint of a behaviorist» (London, 1919), есть русский перевод в издании ГИЗа 1926 г.

<sup>19</sup> Пармели М. «The science of human behavior» (N. Y., 1921).

<sup>20</sup> Корнилов. «Учение о реакциях человека» (М, 1921 г.), 2-е изд. (ГИЗ, 1927), а также «Учебник психологии, ИЗЛОЖЕННОЙ с точки зрения диалектического Материализма». (М., 1926 г.).

ний материально-телесный язык психической жизни человек может наблюдать, конечно, и на себе самом.

Спрашивается теперь, какой опыт должен быть положен в основу научной психологии: внутренний — субъективный — или внешний — объективный, или, может быть, какая-нибудь определенная комбинация из данных и того и другого опыта?

## 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Нужно сказать, что серьезных защит  
« чистого субъективного опыта как

единственной основы психологии без всякой примеси данных опыта внешнего теперь уже нет. Представители современной разновидности субъективной психологии утверждают следующее: в основу психологии может быть положено только непосредственное наблюдение душевной жизни, т. е. самонаблюдение, но данные его должны восполняться и контролироваться внешним объективным наблюдением. Этой цели и служит эксперимент, т. е. произвольное вызывание психических явлений (переживаний) при определенных, создаваемых самим экспериментатором, внешних условиях.

Состав такого психологического эксперимента при этом неизбежно окажется двояким:

1) одна часть его, именно вся внешняя физическая ситуация, при которой происходит данное исследуемое переживание — обстановка, раздражитель, внешнее — телесное проявление раздражения и реакции, испытуемого, — находится в поле внешнего объективного опыта экспериментатора. Вся эта часть эксперимента поддается методам точного, естественнонаучного констатирования, анализа и измерения с помощью специальных приборов;

2) вторая часть эксперимента — самое психическое переживание — не дана во внешнем опыте экспериментатора, более того, она принципиально выходит за пределы всякого внешнего опыта. Эта часть дана только во внутреннем опыте самого испытуемого, который и сообщает результаты своего самонаблюдения экспериментатору. Уже экспериментатор приводит эти непосредственные внутренние данные испытуемого в связь с данными своего внешнего объективного опыта.

Ясно, что центр тяжести всего эксперимента лежит во второй — субъективной части его, т. е. во внутреннем переживании испытуемого; на него и направлена установка экспериментирующего. Это внутреннее переживание и является, собственно, предметом психологии.

Таким образом, последнее слово в экспериментальной психологии принадлежит самонаблюдению. Все же остальное, все те точные измерительные приборы, которыми так гордятся представители этого направления, являются только внешней оправой для

самонаблюдения, только объективно-научной рамкой для субъективно-внутренней картины, — не более.

3. ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 1 | Неизбежно возникает вопрос, не разрывает ли «внутреннее переживание» испытуемого единство и непрерывность внешнего опыта экспериментатора? Не вносится ли этой внутренней точкой зрения (ведь именно с внутренней точки зрения сообщал испытуемый о своих переживаниях) нечто несоединимое с данными опыта внешнего, нечто принципиально не поддающееся объективному анализу и измерению?

Так именно и полагают представители объективной психологии. Они утверждают, что при таком пользовании методом самонаблюдения, какой допускают субъективисты, точной объективной науки построить нельзя. При построении научной психологии необходимо выдержать последовательно и до конца точку зрения внешнего объективного опыта. Внесение же данных самонаблюдения разрушает его единство и его непрерывность. Ведь все, что может иметь какое-либо значение в жизни и в практике, должно быть дано, как внешняя материальная величина, должно выражаться в каком-либо чисто материальном изменении<sup>21</sup>.

Таковыми чисто материальными величинами и являются различные реакции живого организма на раздражения. В своей совокупности эти реакции и образуют то, что мы называем поведением человека или животного.

Это поведение живого организма целиком дано во внешнем объективном опыте, все в нем может быть учтено, измерено и приведено в необходимую причинно-следственную связь с внешними раздражителями и условиями окружающей материальной среды. Только это материально выраженное поведение человека и животных и может быть предметом психологии, желающей быть точной и объективной. Так утверждают объективисты.

Психологический эксперимент — ведь и объективисты должны, конечно, пользоваться экспериментом — должен быть на всем своем протяжении\* локализован во внешнем мире и все его моменты должны быть доступны экспериментатору. Совершенно недопустимо в одном плане, в одной плоскости материального опыта располагать данные и внешнего и внутреннего наблюдения, как это делает субъективная психология: неизбежно получатся дублетные образования (т.е. одно и то же явление будет дано два раза); произойдет путаница, стройность и единство внешнего материального опыта будет поколебле-

<sup>21</sup> В интересах точности необходимо отметить, что бихевиористы, отрицая самонаблюдение как научный метод исследования, все же считают, что при современном состоянии психологии как науки самонаблюдение в некоторых случаях должно быть применено как единственный способ наблюдения, находящийся в нашем непосредственном распоряжении. (См. Уотсон. «Психология как наука о поведении», стр. 38). — *Прим. ред.*

ны. «Внутреннее переживание» испытуемого тоже должно быть как-то переведено на язык внешнего опыта, и только в таком виде оно может быть учтено экспериментатором.

#### 4. СЛОВЕСНАЯ РЕАКЦИЯ

Внутреннему переживанию во внешнем опыте соответствуют слова испытуемого, с помощью которых он сообщает об этом переживании. Такое выражение переживаний носит название словесной или вербальной реакции (или «словесного отчета» в терминологии бихевиористов).

Вербальная реакция — явление в высшей степени сложное. Она складывается из следующих компонентов (т.е. составных частей):

**Д** физическое явление звучания сказанных слов;

2) физиологические процессы в нервной системе, в органах произношения и восприятия;

3) особая группа явлений и процессов, соответствующих «значению» слова и «пониманию» этого значения другим (или другими). Эта группа не поддается чисто физиологическому истолкованию, так как относящиеся к ней явления выходят за пределы изолированного физиологического организма, предполагая взаимодействие нескольких организмов. Таким образом, этот третий компонент словесной реакции носит социологический характер. Образование словесных значений требует установления связей между зрительными, моторными, слуховыми реакциями в процессе длительного и организованного социального общения между индивидами. Однако, и эта группа вполне объективна: ведь все эти пути и процессы, служащие для образования словесных связей, пролегают во внешнем опыте и принципиально доступны объективным методам, хотя и не чисто физиологическим.

Сложный аппарат вербальных реакций работает в своих основных моментах и тогда, когда испытуемый ничего не говорит вслух о своих переживаниях, а испытывает их «про себя»: ведь если он их сознает, то в нем происходит процесс внутренней («скрытой») речи (ведь мы и мыслим, и чувствуем, и хотим с помощью слов: без внутренней речи мы ничего в себе осознать не можем); этот процесс так же материален, как и внешняя речь<sup>2</sup>.

И вот, если мы при психологическом эксперименте вместо «внутреннего переживания» испытуемого вставим его вербальный эквивалент (внутреннюю и внешнюю речь или только внутреннюю), то мы сможем со-

<sup>22</sup> О словесных реакциях, см. Уотсон, «Психология», гл. IX, статью Л.С.Выготского «Сознание как проблема психологии поведения» (сб. «Психология и марксизм» под ред. проф. Корнилова. Л., ГИЗ. 1925 г., стр. 175).

хранить единство и непрерывность внешнего материального опыта. Так принимают психологический эксперимент объективисты.

### 15. МАРКСИЗМ и психология

Таковы два направления современной психологии.

Какое же из этих направлений более соответствует основам диалектического материализма? Конечно, второе, — объективное направление психологии: только оно отвечает требованию материалистического монизма.

Марксизм далек от того, чтобы отрицать реальность субъективно-психического: оно, конечно, существует, но его ни в каком случае нельзя отделять от материальной основы поведения организма. Психическое — только одно из свойств организованной материи, и потому недопустимо противопоставлять его материальному как особый принцип объяснения. Напротив, необходимо, находясь всецело на почве внешнего материального опыта, показать, при каком рода организации и при какой степени сложности материи появляется это новое качество — психическое, это новое свойство материи же. Внутренний субъективный опыт для такой цели ровно ничего дать не может. В этом отношении совершенно права объективная психология.

Однако, еще одно очень важное требование предъявляет диалектический материализм к психологии, требование, которое далеко не всегда сознается и выполняется даже объективистами: психология человека должна быть социологизована.

В самом деле, можно ли понять поведение человека без привлечения объективно-социологической точки зрения? Все основные, существенные в жизни человека поступки вызываются социальными раздражителями в условиях социальной среды. Если мы знаем только физический компонент раздражителя и только отвлеченно физиологический компонент реакции, мы еще очень немного пойдем в поступке человека.

Например, словесные реакции, которые играют такую огромную роль в поведении человека — ведь внутренняя речь сопровождает каждый сознательный поступок его, — не поддаются, как мы видели, чисто физиологическим методам изучения, являясь специфически социальным проявлением человеческого организма.

Образование словесных реакций возможно только в условиях социальной среды. Сложный аппарат вербальных связей вырабатывается и осуществляется в процессе длительного, организованного, многостороннего общения между организмами. Обойтись без объективных социологических методов психология, конечно, не может.

Итак, психология должна объективными методами изучать материально выраженное поведение человека в условиях природной и социальной среды. Таковы требования, предъявляемые марксизмом к психологии.

**6 < ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРОБЛЕМА ФРЕЙДИЗМА**

Какую же позицию занимает в борьбе современных психологических направлений психоанализ?

Сам Фрейд и фрейдисты смотрят на свое учение как на первую и единственную попытку построения истинно объективной, натуралистической психологии. В русской психологической и философской литературе, как мы уже указывали, появилось несколько работ, доказывающих, что психоанализ прав в этих своих притязаниях и что поэтому в своей основе (конечно, с различными изменениями и дополнениями в частностях) он наиболее отвечает требованиям, предъявляемым марксизмом к психологии<sup>23</sup>. Другие представители объективной психологии и марксизма смотрят на психоанализ иначе, считая его совершенно неприемлемым с объективно-материалистической точки зрения<sup>24</sup>.

Вопрос этот интересен и очень важен.

Объективная психология — молодая наука, она только еще начинает слагаться. Свою точку зрения и свои методы она лучше всего может уяснить путем вдумчивой критики и борьбы с другими направлениями (не говоря, конечно, об ее прямой работе над конкретным материалом поведения): это поможет ей методологически окрепнуть и отчетливой осознать свои позиции.

Объективной психологии угрожает одна серьезная опасность — власть в наивный механистический материализм. Эта опасность далеко не так страшна в областях естествознания, изучающих неорганическую природу. Она становится уже более серьезной в биологии, — в психологии же упрощенно механистический материализм может сыграть прямо роковую роль. Такой уклон в примитивный материализм и связанное с ним чрезвычайное упрощение задач объективной психологии мы замечаем у американских behaviorist'ов<sup>25</sup> и у русских рефлексологов.

И вот, когда объективная психология станет перед необходимостью занять отчетливую критическую позицию по отношению ко всем тем сложным и чрезвычайно важным вопросам, которые выдвинул психоанализ, — явно обнаружатся недостаточность и грубость упрощенно-физиологических подходов к человеческому поведению. Необходимость применения диалектической и социологической точки зрения в психологии станет совершенно очевидной.

<sup>23</sup> А. Б. Залкинд. «Фрейдизм и марксизм» (очерки культуры революционного времени); и статья того же названия в журн. «Красная Новь», 1924 г., № 4. Того же автора: «Жизнь организма и внушение» (ГИЗ. 1927 г.), гл. VII, VIII, XVI. Б. Быховский. «О методологических основаниях психоаналитического учения Фрейда». («Под знаменем марксизма», № 12, 1923 г.); Б. Д. Фридман. «Основные психологические воззрения Фрейда и теория исторического материализма». («Психология и марксизм» под ред. Кр. Нилова); А. Р. Лурия. «Психоанализ как система монистической психологии». (Ibid).

<sup>24</sup> В. Юриец. «Фрейдизм и марксизм» («Под знаменем марксизма», NN 8-9, 1924 г.), а также наша статья «По ту сторону социального» (журн. «Звезда», Л., 1925, кн. 5).

<sup>25</sup> Т. е. представителей науки о поведении человека.

Дело в том, что критический анализ психологической теории Фрейда вплотную подведет нас к вопросу именно о словесных реакциях и значении их в целом человеческого поведения — к этому важнейшему и труднейшему вопросу психологии человека.

Мы увидим, что все те душевные явления и конфликты, с которыми познакомит нас психоанализ, окажутся сложными взаимоотношениями и конфликтами между словесными и несловесными реакциями человека.

Мы увидим, что и внутри самой словесной (вербализованной) области поведения человека имеют место весьма тяжелые конфликты между внутренней и внешней речью и между различными пластами внутренней речи. Мы увидим, что в некоторых областях жизни (например, в сексуальной области) особенно трудно и медленно происходит образование словесных связей (т.е. установление связей между зрительными, моторными и иными реакциями в процессе общения между индивидами, что необходимо для образования словесных реакций). На языке Фрейда все это — конфликты сознания с бессознательным<sup>26</sup>.

Сила Фрейда в том, что он со всею остротой выдвинул эти вопросы и собрал материал для их рассмотрения. Слабость его в том, что он не понял социологической сущности всех этих явлений и попытался их втиснуть в узкие пределы индивидуального организма и его психики. Процессы по существу социальные он объясняет с точки зрения индивидуальной психологии.

К этому игнорированию социологии присоединяется и другой коренной недостаток Фрейда — субъективность его метода, правда, несколько замаскированная (потому и возможен был спор по этому вопросу). Фрейд не выдерживает последовательно и до конца точку зрения внешнего объективного опыта и освещает конфликты человеческого поведения изнутри, т.е. с точки зрения самонаблюдения (но, повторяем, в несколько замаскированной форме). Таким образом, интерпретация (истолкование) наблюденных им фактов и явлений, как мы надеемся убедить в этом читателя, в корне неприемлема.

Другая проблема, которая с не меньшей остротой встает перед нами при критической оценке фрейдизма, тесно связана с первой — проблемой словесных реакций. Она касается «содержания психики»: содержание мыслей, желаний, сновидений и пр.<sup>27</sup> Это содержание психики сплошь идеологично: от смутной мысли и неясного, неопределившегося желания до философской системы и сложного политического учреждения мы имеем один непрерывный ряд идеологических, а,

---

<sup>26</sup> Впрочем, и сам Фрейд знает определение «бессознательного» как «несловесного»; об этом ниже.

<sup>27</sup> Строго говоря; его другая сторона той же проблемы, так как содержание психики осознается нами с помощью внутренней речи.

следовательно, и социологических явлений. Ни один член этого ряда от первого до последнего не является продуктом только индивидуального органического творчества. Самая смутная мысль, так и оставшаяся невысказанной, и сложное философское движение одинаково предполагают организованное общение между индивидами (правда, разные формы и степени организованности этого общения). Между тем Фрейд весь идеологический ряд с первого до последнего члена заставляет развиваться из простейших элементов индивидуальной психики как бы в социально пустой атмосфере.

Здесь мы, конечно, только предварительно намечаем две важнейших проблемы психологии. Но нам важно, чтобы читатель, следя за последующим изложением психоанализа, все время как бы имел их перед глазами.

Г ————— | Теперь, в заключение этой главы, мы  
[ л НАУКА И КЛАСС ] | должны коснуться еще одного вопроса,  
бегло затронутого в ее начале.

Уже из наших предварительных ориентировочных замечаний читатель может усмотреть, что психологическая, специально научная сторона фрейдизма отнюдь не является нейтральной по отношению к его общеидеологической классово-позиции, нашедшей столь яркое выражение в его основном философском мотиве.

С этим не все согласны. Многие полагают, что вопросы частных наук \* могут и должны ставиться совершенно независимо от общего мировоззрения. В современном споре вокруг предмета и методов психологии некоторые ученые выдвинули положение о высшем нейтралитете частных наук, — а, следовательно, и психологии — в вопросах мировоззрения и социальной ориентации.

Мы полагаем, что такой нейтралитет частной науки является совершенно мнимым: он невозможен как по логическим, так и по социологическим соображениям.

В самом деле только не додумав до конца какую-либо научную теорию, мы можем не замечать ее необходимой связи с основными вопросами мировоззрения; последовательно же продуманная нами, эта теория неизбежно выдает общефилософскую ориентацию.

Так, субъективная психология во всех своих направлениях при последовательном развитии методологически неизбежно приводит или к дуализму, т.е. к разрыву бытия на две не соединимые между собой стороны — материальную и духовную, или же к чисто идеалистическому монизму. Тот, по-видимому, совершенно невинный клочок «изнутри пережитого», который, как мы видели, разрывает единство объективно-материального течения эксперимента в лаборатории, — отлично сможет послужить и архимедовой точкой опоры для разложения объективно-материалистической картины мира в ее целом.

Невозможен научный нейтралитет и социологически. Ведь нельзя доверять даже самой безукоризненной субъективной искренности человеческих воззрений. Классовая заинтересованность и предвзятость есть объективно -социологическая категория, которая далеко не всегда осознается индивидуальной психикой. Но именно в этой классовой заинтересованности заключена сила всякой теории, всякой мысли. Ведь если мысль сильна, уверенна и значительна, то она, очевидно, сумела задеть какие-то существенные стороны жизни данной социальной группы, сумела связать себя с основной позицией этой группы в классовой борьбе хотя бы и совершенно бессознательно для самого творца этой мысли. Сила действительности, значительности мыслей прямо пропорциональна их классовой обоснованности, их оплодотворенности социально-экономическим бытием данной группы. Вспомним, что словесные реакции являются чисто социальным образованием. Все прочные константные (устойчивые) моменты этих реакций суть моменты именно классового, а не личного самосознания.

Человеческая мысль никогда не отражает только бытие-объекта, который она стремится познать, но вместе с ним отражает и бытие познающего субъекта, его конкретное общественное бытие. Мысль — это двойное зеркало, и обе стороны его могут быть и должны быть ясными и незатуманенными. Мы и стараемся понять обе стороны фрейдовской мысли.

---

Теперь мы достаточно ориентированы как в основных философских, так и в основных психологических направлениях современности, ознакомились и с марксистским критерием: у нас в руках есть теперь та путеводная нить, с помощью которой мы можем углубиться в лабиринт психоанализа.

## ИЗЛОЖЕНИЕ ФРЕЙДИЗМА

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

## БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПСИХИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

1. СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. 2. ТРИ ПЕРИОДА В РАЗВИТИИ ФРЕЙДИЗМА.
3. ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. 4. КАТАРТИЧЕСКИЙ МЕТОД.
5. ОСОБЕННОСТИ ВТОРОГО ПЕРИОДА. 6. УЧЕНИЕ О ВЫТЕСНЕНИИ.

### СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Человеческая психика распадается, по Фрейду, на три области: сознание, бессознательное и предсознательное. Эти три области или системы психического находятся в состоянии непрерывного взаимодействия, а две первых — и в состоянии напряженной борьбы между собою. К этому взаимодействию и к этой борьбе сводится психическая жизнь человека. Каждый душевный акт и каждый человеческий поступок должно рассматривать как результат состязания и борьбы сознания с бессознательным, как показатель достигнутого в данный момент жизни соотношения сил этих непрерывно борющихся сторон.

Если мы будем слушать только то, что говорит нам о нашей душевной жизни сознание, мы никогда не поймем ее; сознание, находясь в непрерывной борьбе с бессознательным, всегда тенденциозно. Оно дает нам о психической жизни в ее целом и о себе самом заведомо ложные сведения. А между тем психология всегда строила свои положения на основании показаний сознания, а большинство психологов просто отождествляли психическое с сознательным. Те немногие, которые, как ЛИППС или ШАРКО и его школа, учитывали бессознательное, совершенно недооценивали его роли в психике. Они представляли его себе как какой-то устойчивый, раз и навсегда готовый придаток душевной жизни. Непрерывная динамика его борьбы с сознанием оставалась для них скрытой. Вследствие этого отождествления психического с сознанием старая психология, по мнению Фрейда, рисовала нам совершенно ложную картину нашей-душевной жизни, так как ос-ьювная масса психического и его основные силовые центры падают именно на область бессознательного.

Пафос фрейдизма — пафос открытия целого мира, нового неизведанного материка по ту сторону культуры и истории, но в то же время — необычайно близкого к нам, каждый миг готового прорваться сквозь покров сознания и отразиться в нашем слове, в какой-нибудь невольной обмолвке, в жесте, в поступке.

Эта близость бессознательного, эта легкость его проникновения в самое прозаическое явление жизни, в самую гущу житейской обыденности — одна из основных особенностей теории Фрейда, отличающая ее от учений таких «философов бессознательного» высокого стиля, как ШОПЕНГАУЭР и особенно ЭДУАРД ГАРТМАН.

## 2. ТРИ ПЕРИОДА В РАЗВИТИИ ФРЕЙДИЗМА

Эта концепция бессознательного сложилась и определилась у Фрейда не сразу и в дальнейшем подвергалась существенным изменениям. Мы различаем в истории ее развития три периода.

В первый период (так называемый Фрейд-Брейеровский период) фрейдовская концепция бессознательного была близка к учению знаменитых французских психиатров и психологов — ШАРКО, ЛЬЕБО, БЕРНГЕЙМА и ЖАНЭ, от которых она находилась и в прямой генетической зависимости (Фрейд учился у Шарко и у Бернгейма).

Приблизительные хронологические грани первого периода — 1890 — 1897 годы. Основная и единственная книга этого периода — Freud u. Breuer, «Studien über Hysterie» (исследования об истерии), вышедшая в 1895 г.

Во второй, самый продолжительный и самый важный период развития психоанализа определяются все основные и характерные черты фрейдовского учения о бессознательном. Теперь оно становится уже совершенно оригинальным. Разработка всех вопросов происходит в этот период исключительно в плоскости теоретической и прикладной психологии. Фрейд еще избегает широких философских обобщений, избегает вопросов миросозерцания. Вся концепция носит подчеркнутый позитивистический характер<sup>1</sup>. Стиль работ Фрейда — трезвый и сухой. Приблизительные хронологические грани этого периода — 1897 — 1914 годы. В этот период вышли все основные психоаналитические труды Фрейда<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Фрейд и поныне (1926 г.) продолжает настаивать на строго эмпирическом характере его учения. По его словам, психоанализ не представляет собою философскую систему, «хотящую из отдельных строго определенных предпосылок, стремящуюся при помощи их охватить всю целокупность мира и, будучи раз завершенной, не оставляющей больше места для новых исканий и более продуманных взглядов. Психоанализ, наоборот, опирается на факты изучаемой области, стремится разрешить ближайшие, вытекающие из наблюдения проблемы, — всегда не зря. — всегда готов внести исправления в свои теории (Handwörterbuch, стр. 616). - Прим. ред.

«Traumdeutung» (Снотолкование) 1900 г. Есть русский перевод (1911 г.); «Psychopatologie des Alltagslebens» (Психопатология обыденной жизни); русск. пер. 1925 г. «Der Witz» (Острота); русск. пер. 1925 г. «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie». (Три очерка по сексуальной теории); русск. пер. «Очерки по психологии сексуальности», ГИЗ (год не ука-

В третий период концепция бессознательного претерпевает существенное изменение (в особенности в работах учеников и последователей Фрейда) и начинает сближаться с метафизическим учением Шопенгауэра и Гартмана. Общие вопросы мировоззрения начинают преобладать над частными, специальными проблемами. Бессознательное становится воплощением всего низшего и всего высшего в человеке (главным образом у представителей швейцарской школы фрейдистов). Появляется учение об «Идеал-Я» (Ich-Ideal).

Чем же объясняются эти перемены в самом духе учения? Отчасти прямым влиянием Шопенгауэра и Гартмана (также Ницше),<sup>1</sup> которых Фрейд к этому времени начинает тщательно изучать (в течение первого и почти всего второго периода Фрейд как последовательный позитивист не признавал философии)<sup>3</sup>. Отчасти в этом сказалось сильное влияние примкнувших к Фрейду новых последователей, с самого начала настроенных на философский и гуманитарный лад и внесших новые тона в обсуждение психоаналитических вопросов (особенно Отто Ранк и Ференчи). Но, вероятно, наибольшую роль в этой перемене играло обратное влияние на Фрейда увлеченных им современников. К этому времени Фрейд стал признанным «властителем дум» в самых широких интеллигентских кругах. Но эти широкие круги уже и в прежних трудах Фрейда старались выудить именно философскую, идеологическую тему. Они ждали и требовали от психоанализа «откровения» в области мирозерцания. И вот мало-помалу Фрейд поддался и подчинился этому требованию и ожиданию. Произошло довольно обычное явление: успех и признание повлекли к приспособлению и к некоторому вырождению учение, выросшее и созревшее в атмосфере вражды и непризнанности.

Приблизительная хронологическая грань, отделяющая этот последний — третий — период от второго, проходит около 1914 — 1915 года<sup>4</sup>. Основные труды этого периода — две последних книги Фрейда: «Jenseits des Lustprinzips» (по ту сторону принципа наслаждения) и «Das Ich und das Es» (Я и Оно)<sup>5</sup>. Впрочем, наиболее яркое литературное выражение этого! периода психоанализа дал не Фрейд, а его любимый ученик ОТТО РАНК в своей на шумевшей книге, появившейся три года тому назад, «Травма рождения»<sup>6</sup>. Это — самое характерное выражение того нового духа, который стал господствовать в психоанализе в самое последнее время. Книга — философская от начала и до конца. Написана тоном и стилем мудреца, «вещающего великие и страшные словеса». Местами она похожа на дурную пародию на Ницше периода увлечения Шопен-

зан). Наконец, три основных тома «Kleine Schriften zur Neurosenlehre» (статьи по теории неврозов) и еще целый ряд других менее важных работ.

<sup>1</sup> См. примечание 1-е. — *Прим. ред.*

<sup>4</sup> Первые ноты, характерные для последнего периода фрейдизма, начинают звучать в таких работах, как «Einführung des Narcissmus» и «Trauer und Melancholie».

<sup>5</sup> Эта книга имеется в русском переводе: «Я и Оно» (Academia, 1924 г.).

<sup>6</sup> Trauma der Geburt (1924 г.).

гауэрм<sup>7</sup>. Выводы поражают своей крайностью. В трезвой и сухой атмосфере второго, классического периода психоанализа подобная книга была бы совершенно невозможна.

Таковы Три периода развития психоанализа. Их различие и особенности нужно все время иметь в виду; их нельзя игнорировать в угоду логическому единству построения. За тридцать три года своего исторического существования психоанализ во многом и существенно менялся. Он теперь уже не тот, каким был еще перед самой войною четырнадцатого года.

### 3. ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Что же такое «бессознательное»? Какова была ее роль в развитии психоанализа?

Еще в 1889 Г. в Нанси, Фрейда — тогда молодого венского врача — поразил опыт знаменитого знатока гипноза Бернгейма: загипнотизированной пациентке было внушено приказание через некоторое время после пробуждения раскрыть стоявший в углу комнаты зонтик. Пробудившись от гипнотического сна, дама в назначенный срок в точности выполнила приказанное: прошла в угол и раскрыла зонтик в комнате. На вопрос о мотивах ее поступка она ответила, что будто бы хотела убедиться — ее ли это зонтик. Этот мотив совершенно не соответствовал действительной причине поступка и, очевидно, был придуман *postfactum*, но сознанию больной он вполне удовлетворял: она искренне была убеждена, что раскрыла зонтик по собственному желанию, имея целью убедиться, принадлежит ли он ей. Далее, Бернгейм путем настойчивых расспросов и наведений ее мысли заставил, наконец, пациентку вспомнить настоящую причину поступка, т.е. приказание, полученное ею во время гипноза<sup>8</sup>.

Из этого эксперимента Фрейд сделал три общих вывода, определивших основы его ранней концепции бессознательного:

- 1) мотивация сознания при всей ее субъективной искренности не всегда соответствует действительным причинам поступка;
- 2) поступок иногда может определяться силами, действующими в психике, но не доходящими до сознания;
- 3) эти психические силы с помощью известных приемов могут быть доведены до сознания.

На основе этих трех положений, проверенных на собственной психиатрической практике, Фрейд выработал совместно со своим старшим

<sup>7</sup> На книгу Ницше «Рождение трагедии», из которой Ранк взял эпиграф для своего труда.

Об этом сам Фрейд: «Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung». (Samml. Kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 4. Folge).

коллегой, доктором БРЕЙЕРОМ, так называемый «катартический метод лечения истерии»<sup>9</sup>.

#### 14. КАТАРТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Сущность этого метода заключается в  
в МПОВЕ истерии "некто"

рых других психогенных (вызванных психическим, а не органическим потрясением) нервных заболеваний лежат психические образования, не доходящие до сознания больного: это какие-либо душевные потрясения, чувства или желания, однажды пережитые больным, но намеренно забытые им, так как его сознание, по каким-либо причинам, или боится, или стыдится самого воспоминания о них. Не проникая в сознание, эти забытые переживания не могут быть нормально изжиты и отреагированы (разряжены); они-то и вызывают болезненные симптомы истерии. Врач должен снять амнезию (забвение) с этих переживаний, довести их до сознания больного, вплести в единую ткань этого сознания и таким образом дать им возможность свободно разрядиться и изжить себя. Путем такого изживания и уничтожаются болезненные симптомы истерии.

Например, какая-нибудь девушка испытывает такое любовное влечение к близкому человеку, которое с ее точки зрения представляется ей настолько недопустимым, диким и противоестественным, что она даже себе самой не в силах признаться в этом чувстве. Поэтому она не может подвергнуть его трезвому и сознательному обсуждению, хотя бы и наедине сама с собою. Такое непризнанное ею самой переживание окажется в душе девушки в совершенно изолированном состоянии; ни в какую связь с другими переживаниями, мыслями и соображениями оно вступить не сможет. Страх, стыд, возмущение посылают это переживание в тяжелое душевное изгнание. Найти выход из этого изгнания такое изолированное переживание не может: ведь нормальным выходом для него было бы какое-нибудь действие, поступок или хотя бы слова и разумные доводы сознания. Все эти выходы закрыты. Сдавленное со всех сторон (сжатое в тисках, eingeklemmt, по выражению Фрейда), изолированное переживание начинает искать выходов на ненормальных путях, где онр может остаться неузнанным: в онемении какого-нибудь здорового члена тела, в беспричинных приступах страха, в каком-либо бессмысленном действии и т.п. Таким-то путем и образуются симптомы истерии. Задача врача сводится в таком случае прежде всего к тому, чтобы узнать у больной эту, намеренно забытую и непризнанную ею, причину болезни, заставить ее вспомнить о ней. Для этого Фрейд и Брейер пользовались гипнозом (полным или частичным). Узнав причину болезни, врач должен заставить больную, преодолевая страх и стыд, признать забытое переживание, перестать «прятать» его в симптомы истерии и ввести его в «нормальный обиход» сознания. Здесь, или путем сознательной борьбы с этим переживанием, или иногда путем целесообразной уступки ему, врач дает ему возможность нормально разрядиться.

<sup>9</sup> Для всего последующего см. Dr. Breuer und Dr. Freud, «Studien über Hysterie», 1. Auflage, 1895. (IV. Aufl. 1922) или ст. Фрейда в Handwört. d. Sex. Wissensch., стр. 610.

Нашей девушке, может быть, придется перенести *тяжелую* житейскую невзгоду и неприятности, но, во всяком случае, уже не болезнь. Истериические симптомы станут ненужными и мало-помалу отпадут.

Такое освобождение от страшного и стыдного путем сознательного изживания его Фрейд называет аристотелевским термином «катарсис», что значит — очищение. По теории Аристотеля трагедия очищает души зрителей от аффектов страха и сострадания, заставляя и пережить эти чувства в ослабленной форме. Отсюда и название метода Фрейда и Брейера — катартический (очистительный)<sup>10</sup>.

Эти забытые переживания, вызывающие симптомы истерии, и являются «бессознательным», как понимал его Фрейд в первый период развития своего учения. «Бессознательное» можно определить как некое чужеродное тело, проникшее в психику. Оно не связано прочными ассоциативными нитями с другими моментами сознания и потому разрывает его единство. В нормальной жизни к нему близко мечтание, которое тоже более свободно, чем переживания реальной жизни, от тесных ассоциативных связей, пронизывающих наше сознание. Близко к нему и состояние гипноза, вследствие чего Фрейд и Брейер и называют «бессознательное» — гипноидом<sup>11</sup>.

Такова первая фрейдовская концепция бессознательного.

Отметим и подчеркнем две ее особенности. Во-первых, Фрейд не дает нам никакой физиологической теории бессознательного и даже не пытается этого сделать, в противоположность Брейеру, который предлагает физиологическое обоснование своего метода<sup>12</sup>; Фрейд же с самого начала повернулся спиной к физиологии. Во-вторых, продукты бессознательного мы можем получить только в переводе на язык сознания; другого, непосредственного подхода к бессознательному помимо сознания самого больного нет и не может быть.

Укажем еще читателю на то громадное значение, какое катартический метод придает словесной реакции. Сам Фрейд отмечает эту черту своей теории: он сравнивает свой метод лечения истерии с католической исповедью. На исповеди верующий действительно получает облегчение и очищение, благодаря тому, что сообщает другому человеку, в данном случае священнику, о таких поступках и мыслях, которые он сам признает греховными, и о которых при других обстоятельствах он ни одному человеку сказать не может. Таким образом он дает словесное выражение и словесный исход тому, что было сдвлено и изолировано в его психике и потому отягощало ее. В этом — очищающая сила слова<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Breuer und Freud. «Studien über Hysterie», стр.1-14.

<sup>11</sup> Ibid., стр. 188 и далее.

<sup>12</sup> Ibid., стр. 161 и след.

<sup>13</sup> Следует также отметить, что в этот же период Фрейд в своей практике психиатра перестал применять для целей катарсиса методы гипноза, а заменил их методом свободных ассоциаций. Путем наводящих вопросов и долгого наблюдения врач, предвари-

## 1. ЛКОБЕННОСТИ ВТОГО ПЕРИОДА

Теперь мы должны перейти к дальнейшему развитию понятия бессознательного уже во втором, классическом, пе-

риоде психоанализа. Здесь оно обогащается целым рядом новых, в высшей степени существенных моментов,

В первый период бессознательное представлялось до известной степени случайным явлением в человеческой психике: это был какой-то болезненный придаток к ней, некоторое чужеродное тело, проникшее в душу склонного к истерии человека под влиянием каких-нибудь случайных жизненных обстоятельств. Нормальный психический аппарат представляется в первом периоде чем-то вполне статическим, устойчивым; борьба психических сил совсем не являлась постоянной закономерной формой душевной жизни, а скорее исключительным и ненормальным явлением в ней. Далее, и содержание бессознательного осталось в этом периоде совершенно невыясненным и тоже как бы случайным. В зависимости от индивидуальных особенностей человека и от случайных обстоятельств его жизни, то или иное мучительное или постыдное переживание изолируется, забывается и становится бессознательным; никаких типологических обобщений таких переживаний Фрейд не делает. Исключительное значение сексуального момента тоже еще не выдвинуто. Так обстояло дело в первом периоде.

Во втором периоде бессознательное становится уже необходимой и крайне важную составную частью психического аппарата всякого человека. Самый психический аппарат динамизуется, т.е. приводится в непрестанное движение; борьба сознания с бессознательным объявляется постоянной и закономерной формой психической жизни. Бессознательное становится продуктивным источником психических сил и энергий для всех областей культурного творчества, особенно для искусства. В то же время, при неудачном ходе борьбы с сознанием, бессознательное может стать источником всех нервных заболеваний.

Процесс образования бессознательного, согласно этим новым воззрениям Фрейда, носит закономерный характер и совершается на протяжении всей жизни человека с самого момента его рождения. Этот процесс носит название «вытеснения» (Verdrängung). Вытеснение — одно из важнейших понятий всего психоаналитического учения.

Далее, содержание бессознательного типизуется: это уже не случайные разрозненные переживания, а некоторые типические, в основном общие для всех людей связные группы переживаний (комплексы) определенного характера, преимущественно сексуального. Эти комплексы (связные группы переживаний) вытесняются в бессознательное в строго определенные периоды, повторяющиеся в истории жизни каждого человека.

---

тельно подготовив пациента, доискивается до загнанных в бессознательное «стыдных или страшных» переживаний и, приведя их в сознание, дает им естественный разряд. — *Прим. ред.*

В настоящей главе мы познакомимся с основным психическим «механизмом» вытеснения и тесно связанным с ним понятием «цензуры». Содержанием бессознательного мы займемся в следующей главе.

Что же такое вытеснение?

#### 6. УЧЕНИЕ О ВЫТЕСНЕНИИ

На первых ступенях развития человеческой личности наша психика не знает различия возможного и невозможного, полезного и вредного, дозволенного и недозволенного. Она управляется только одним принципом, «принципом наслаждения» (*Lustprinzip*)<sup>14</sup>. На заре развития человеческой души в ней свободно и беспрепятственно рождаются такие представления, чувства и желания, которые на следующих ступенях развития привели бы в ужас сознание своей преступностью и порочностью. В детской душе «все позволено», для нее нет безнравственных желаний и чувств, и она, не зная ни стыда, ни страха, широко пользуется этой привилегией для накопления громадного запаса самых порочных образов, чувств и желаний — порочных, конечно, с точки зрения дальнейших ступеней развития. К этому нераздельному господству принципа наслаждения присоединяется на самой первой ступени развития способность к галлюцинаторному удовлетворению желаний: ведь ребенок еще не знает различия действительного и недействительного. Всякое представление — для него уже реальность. Такое галлюцинаторное удовлетворение желаний на всю жизнь сохраняется человеком во сне<sup>15</sup>.

На следующих ступенях душевного развития принцип наслаждения теряет свое исключительное господство в психике: начинает действовать рядом с ним, а часто, вопреки ему, но вый принцип психической жизни — «принцип реальности». Все психические переживания должны теперь выдерживать в душе двойное испытание с точки зрения каждого из этих двух принципов. Ведь желание часто может оказаться неудовлетворенным и потому причиняющим страдание, — или при удовлетворении оно может повлечь за собой неприятные последствия: такие желания должны быть подавлены. Какое-либо представление может связаться тесной ассоциативной связью с чувством страха, или с воспоминанием боли: такие представления не должны возникать в душе.

Таким образом происходит психический отбор, и только то душевное образование, которое выдержит двойное испытание с точки зрения обоих принципов, как бы легализуется, приобретает полноправие и входит в высшую, систему психического —, в-с«знани е, или ^только получает возможность войти в нее, т.е. становится предсознательным. Те же переживания, которые не выдержат испытания, — становятся нелегальными и вытесняются в систему бессознательного.

<sup>14</sup> •Fr\* ud, «Über zwei Princip. d. psychr Geschehens» (Kl. Sehr. z. Neurosenchre; 3. F.),

Ср. и.

<sup>15</sup> Фрейд. «Снотолкование», сто; 388-391 и 403\*405.

Это вытеснение, работающее на протяжении всей жизни человека, совершается механически, без всякого участия сознания. Сознание получает себя в совершенно готовом, очищенном виде, оно не регистрирует вытесненного и может даже совершенно не подозревать ни об его наличности, ни об его составе. Ведает вытеснением особая психическая сила, которую Фрейд образно называет «цензурой». Цензура лежит на границе систем бессознательного и сознательного. Все, что находится в сознании или может войти в него — строго процензуровано<sup>16</sup>.

Вся масса «нецензурных» представлений, чувств и желаний, вытесненных в бессознательное, никогда не умирает и не теряет своей силы. Ведь изжить какое-нибудь желание или чувство можно только через сознание и через управляемые им действия и поступки и, прежде всего, через человеческую речь. Бессознательное же — бессловесно, оно боится слова. В бессознательных желаниях мы не можем признаться даже самим себе во внутренней речи\* следовательно, им нет никакого выхода вовне, они не могут быть отреагированы и потому со всею полнотой сил и свежести неизменно живут в нашей душе<sup>17</sup>.

Так совершается процесс вытеснения.

Бессознательное мы можем определить теперь с точки зрения психической динамики его образования — как вытесненное. Каков характер этого вытесненного, другими словами — каково содержание этого бессознательного, мы выясним в следующей главе.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

### СОДЕРЖАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

1. ТЕОРИЯ ВЛЕЧЕНИЙ. 2. СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА. 3. ЭДИПОВ КОМПЛЕКС.
4. СОДЕРЖАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ВО ВТОРОЙ ПЕРИОД.
5. ТЕОРИЯ ВЛЕЧЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА (ЭРОС И СМЕРТЬ). 6. «ИДЕАЛ-Я».

#### I. ТЕОРИЯ ВЛЕЧЕНИЙ

**М**ы познакомились с процессом вытеснения. Откуда же берется материал для него?

Какие именно чувства, желания и представления оказываются вытесненными в бессознательное?

Чтобы это понять, чтобы разобраться в составе бессознательного, необходимо познакомиться с фрейдовской теорией влечений (Triebe)<sup>18</sup>.

Психическая деятельность приводится в движение внешними и внутренними раздражениями организма. Внутренние раздра-

<sup>16</sup> Ibid., стр. 116 и 439 и след., а также «Я и Оно», гл. I и II.

<sup>17</sup> Freud. «Jenseits des Lustprinzips», стр. 35-36, и «Kl. Sehr. z. Neur.», 4. F.: «Das Unbewusste».

<sup>18</sup> Samml. Kl. Sehr. z. Neur., 4. F.: «Triebe und Tribschicksale», а также «Я и Оно», гл. IV.

жения имеют соматический (телесный) источник, т.е. рождаются в нашем собственном организме. И вот — психические представительства этих внутренних соматических раздражений Фрейд называет влечениями.

Все влечения Фрейд разделяет по их цели и по соматическому их источнику на две группы:

1) сексуальные влечения, цель которых — продолжение рода хотя бы ценою жизни индивида;

2) личные влечения, или влечения «я» (Ich-triebe); их цель — самосохранение индивида.

Эти две группы влечений несводимы одна на другую и часто вступают между собой в разнородные конфликты.

Мы остановимся только на сексуальных влечениях, так как они доставляют главную массу материала в систему бессознательного. Группа этих влечений подробно исследована Фрейдом<sup>19</sup>. По мнению некоторых, главные заслуги фрейдизма лежат именно в области сексуальной теории.

2. СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

1 В предыдущей главе мы говорили, что ребенок на первых ступенях своей психической жизни накапливает громадный запас чувств и желаний, порочных и безнравственных с точки зрения сознания. Незнакомому с фрейдизмом читателю это утверждение показалось, вероятно, очень странным и, может быть, вызвало недоумение. В самом деле, откуда у ребенка безнравственные, порочные желания? Ведь ребенок — это символ невинности и чистоты!

Сексуальное влечение, или, как называет его Фрейд, *libido* (что значит: половой голод), присуще ребенку с самого начала его жизни; оно рождается вместе с его телом и ведет непрерывную, только иногда ослабевающую, но никогда не угасающую вовсе, жизнь в его организме и психике. Половое созревание — это только этап — правда, очень важный — в развитии сексуальности, но это совсем не начало ее<sup>20</sup>.

На тех первых ступенях развития, на которых еще нераздельно господствует принцип наслаждения с его «все позволено», сексуальное влечение «характеризуется следующими основными особенностями:

1) Гениталии (половые органы) еще не стали организующим соматическим центром сексуального влечения; они являются только одной из эрогенных зон (так называет Фрейд сексуально-возбуждаемые части тела) и с ними успешно конкурируют другие зоны, как то: полость рта (при сосании), anus, или анальная зона (заднепроходное отверстие) при выделении кала; кожа; большой палец руки или ноги и пр.<sup>21</sup>. Можно сказать, что половое влечение, или *libido*

<sup>19</sup> Для всего последующего см. Freud. «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie». 1905. Русск. пер. «Очерки по психологии сексуальности». М., ГИЗ, 1925 г.

<sup>20</sup> «Очерки по псих., секс.», стр. 47-55.

<sup>21</sup> Ibid., стр. 43-44, 58, 61.